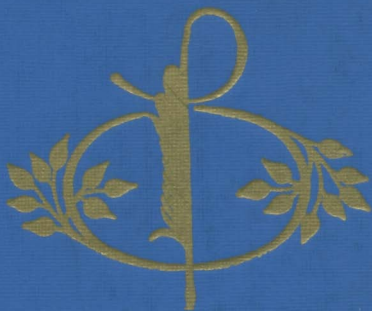


83.3 Кем  
1977



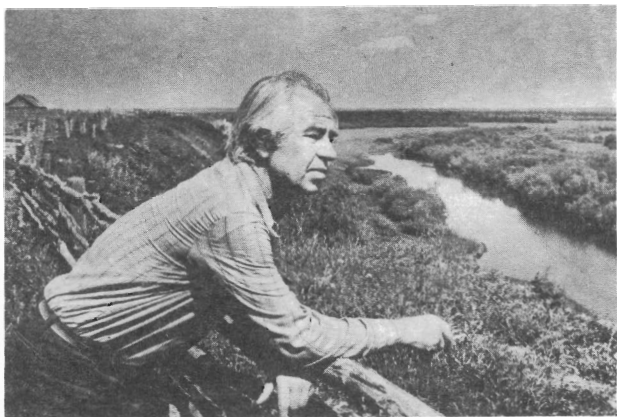
Воспоминания  
о поэте  
ВАСИЛИИ  
ФЕДОРОВЕ





\* \* \*

Ни в благодушии ленивом,  
Ни в блеске славы,  
Ни в тени —  
Поэт не может быть счастливым  
В тревожные для мира дни.



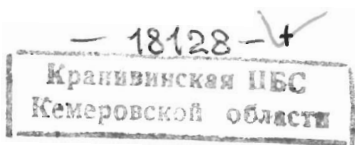
Беря пророческую лиру,  
Одно он помнит  
Из всего,  
Что все несовершенство мира  
Лежит на совести его.



Воспоминания  
о поэте  
**ВАСИЛИИ  
ФЕДОРОВЕ**

Кемеровское  
книжное издательство  
1987

83.3K  
ББК 84.3P7  
В 77



Составление Т. И. Махаловой  
Оформление В. П. Кравчука

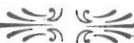
*В книге использованы в качестве иллюстраций фотографии не только профессиональных фотографов, но и любительские, а также архивные, подчас плохо сохранившиеся, но представляющие интерес для читателя.*

*Публикуются фото Н. Г. Кочнева, В. Н. Грызыхина, В. Ф. Худякова, В. Н. Клещова, Н. М. Герасименко, И. Чиркова, В. А. Колмогорова.*

*Авторство некоторых фотоматериалов не установлено.*

4702010200—26  
В ————— 87  
М 145(03) —87

© Кемеровское книжное издательство, 1987



Юрий Прокушев

ПОЭТ РОССИИ И МИРА

Слово о друге

Велик твой путь,  
И ноша нелегка...

Василий Федоров



*На V съезде писателей РСФСР. Слева направо: Г. И. Коновалов, В. Д. Федоров, Ю. Л. Прокушев. 9 декабря 1980 г.*

Горе почти всегда приходит к нам неожиданно.  
19 апреля 1984 года...

С утра за столом не работается. Нет полетности. Что это: обычная усталость, перегрузка, а возможно, предчувствие какой-то беды... Откуда такое состояние, что не находишь себе места?

Кажется, нет для этого особых причин... В доме покой и тишина. Неожиданно раздаётся долгий, тревожный телефонный звонок. В трубке взволнованный голос поэта Алексея Менькова из Московской организации Союза писателей.

— Простите, беспокою вас, зная вашу многолетнюю дружбу с Василием Дмитриевичем Федоровым.

— Что с ним? Он же на днях вылетел на Кавказ, подлечиться, поработать над новыми стихами.

Трубка молчит. Пауза затягивается. Растет тревога.

— Что, что случилось с Василием Дмитриевичем?

— Непоправимая катастрофа. Василий Дмитриевич умер сегодня в Ессентуках...

Не могу произнести ни единого слова. Щемящая боль полоснула по сердцу, сковала душу.

Невозможно представить, что больше не будет ходить по русской земле этот светлый, благороднейший человек; что перестало биться сердце поэта, от которого всем нам долгие годы было так душевно тепло!

Невозможно поверить в эту смерть!

Еще совсем недавно, перед отъездом Василия Дмитриевича на юг, мы встречались с ним неоднократно. Я был у него дома, на Кутузовском проспекте, был на даче — в Переделкине, вместе с работниками телевидения мы снимали большую передачу о Федорове, снимали весь день. Несколько часов кряду шел откровеннейший, во многом поучительный для всех присутствующих разговор о делах литературных и о жизни, о книгах Василия Дмитриевича, новых его стихах и прозе — рассказах из задуманного им цикла «Сны поэта».

Кто встречался с Василием Дмитриевичем, хорошо знает, какой он был живой и мудрый собеседник. Каждое общение с ним, его стихами обогащало нравственно, духовно. Он — Личность.

Яркая. Самобытная. Дерзкая. С русским, по-сибирски широким, задушевым, прямым характером, когда надо, весьма крутым по отношению к злу и неправде. Личность, притягивающая к себе неодолимо.

Я не однажды замечал это. Телевизионщики, снимавшие в тот день Василия Федорова, были покорены его естественностью, простотой, скромностью, интеллигентностью и, конечно же, мудростью суждений, философской глубиной, эмоциональной энергией, заключенной в его стихах и поэмах...

*Да Винчи говорил:  
Когда вы захотите  
Какой-нибудь реке  
Дать новый,  
Лучший, путь,  
Вы как бы  
У самой реки спросите,  
Куда б она сама  
Хотела повернуть.  
Мысль Леонардо!  
Обновись, и шествуй,  
И вечно торжествуй  
На родине моей.  
Природа и сама  
Стремится  
К совершенству.  
Не мучайте ее,  
А помогайте ей!*

Стихам этим — скоро четверть века, а кажется, что написаны они в наши дни, когда идут жаркие споры о возможном повороте северных рек России на юг.

Как это мудро, справедливо, народно: не мучайте, а помогайте! Иначе в будущем произойдет самое страшное и непоправимое: не только окончательно разрушится гармония красоты природы,



но в конце концов может погибнуть и само человечество. Мысль эта с особой полемической заостренностью выражена в знаменитом стихотворении Василия Федорова — «Пророчество»:

*Меня охватывает дрожь,  
Когда смотрю  
В провал заклитий.  
О человечество,  
Куда ты,  
Куда ты, милое,  
Идешь?*

.....  
*Земли  
Не вечна благодать,  
Когда далекого потомка  
Ты пустишь по миру  
С котомкой,  
Ей будет  
Нечего подать.*

Пожалуй, тогда, в начале шестидесятых годов, впервые в нашей поэзии с такой обжигающей душу правдой и гражданской бескомпромиссностью говорилось об одной из острейших и злободневнейших проблем нашего века: говорилось до принятия исторических законов об охране природы нашим социалистическим государством, до того, как наиболее дальновидные умы человечества начали объединять свои усилия, чтобы сохранить природу нашей планеты.

Вечером того же дня мы долго беседовали по телефону.

— Очевидно, изредка это надо делать, — заметил Василий Дмитриевич, который всегда был чужд эстрадной суеты и телеажиотажа, характерного для иных стихотворцев. К тому же, если быть откровенным до конца, радио, телевидение, критика не очень-то «долекали» своим «вниманием» Василия Федорова, вплоть до его шестиде-

сятилетия. Пусть, это останется на совести тех, кто это должен был делать.

На следующий день после телесъемки Василий Дмитриевич записывался в «Мелодии» на пластинку. Первую в его жизни. Позвонил редактор. Радостный. Сказал, что запись — отличная.

— Как читал Василий Дмитриевич! Какие стихи!

Кто мог знать, что этой записи суждено было стать последней — завещательной. Хорошо, что она состоялась.

Думал ли обо всем этом Василий Дмитриевич, собираясь на Кавказ? Вряд ли. А возможно, было и у него интуитивное предчувствие надвигающегося конца. Душа истинного поэта всегда обнажена, как самый чувствительный радар. Кто знает...

*Я уже не с вами,  
Я уже не тут,  
Я в садах, где  
Птицы райские поют...*

— Эти строчки Василий Дмитриевич прочитал нам, родным и близким, в один из последних дней, перед своим отъездом на юг, — рассказывала мне после похорон поэта его жена Лариса Федоровна. — Мы как-то сразу попритихли... Конечно, — продолжала она, — такие стихи родились у Василия Дмитриевича не случайно. Он ведь лучше всех нас чувствовал и понимал, что близок к завершению его земной путь.

«Если спросят, что так мало жил я, ты в своем ответе не таи то, что я страдания чужие принимал все время как свои».

Взлетной полосой в мир поэзии и вечной красоты для Василия Федорова счастливо стала затерявшаяся в сибирских даях деревня Марьевка. «Я даже не представлял, — скажет он однажды, — что можно было жить где-то, кроме Марьевки».



*На IV съезде писателей РСФСР. Слева направо: В. В. Липатов, В. Д. Федоров, Ф. А. Абрамов, Е. И. Нюсов, В. П. Астафьев, Декабрь, 1975 г.*

Последние пятнадцать лет он каждое лето жил на родине. Отсюда с особой ясностью открывался ему весь мир: «Одной цепи я вижу звенья, сработанные не вчера: и мировые потрясения, и горе одного двора».

Многое должен поэт увидеть, почувствовать, передумать, а главное — пережить вместе с народом и радости и горе, чтобы в его сердце родились такие обжигающие душу строки.

Случается, поэт пишет о горе одного двора, не касаясь при этом «мировых потрясений». Таким стихам не хватает масштабности чувств, философского осмысления мира. В лучшем случае они — лишь полуправда.

Случается наоборот: увлеченный вселенским размахом, поэт теряет из виду «горе одного двора»,

теряет человека. Такие стихи, как правило, абстрактно рассудочны и риторичны.

По-настоящему трагедийна, а значит, и глубоко правдива, гуманна, патриотична лишь та поэзия, которая стремится к философскому осмыслению коренных социальных и нравственных конфликтов своей эпохи, к показу неразрывного единства судьбы народной и судьбы человеческой.

Таковы стихи и поэмы великого русского советского поэта Василия Дмитриевича Федорова.

Он был убежден, что «поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни», что «все несовершенства мира лежат на совести его».

Как прекрасно, что эти высокие слова у Василия Дмитриевича не расходились с его делами, творчеством, судьбой, его стихами и поэмами, будь то «Золотая жила» или «Белая роща», «Проданная Венера» или «Бетховен», «Седьмое небо» или «Женитьба Дон-Жуана». Душа истинного поэта всегда напряжена, всегда испытывает колоссальные нравственные, моральные, эмоциональные перегрузки. Своими пророческими стихами такой поэт вызывает «огонь на себя», вызывает ради истины, ради будущего.

«Наше время такое: живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя — то в поту, то в крови наши лбы. Ну, а если нам до ста не придется дожить, значит, было непросто в мире первыми быть».

Василий Федоров постоянно, неудержимо и смело бросал себя в крутой водоворот народной жизни, идя навстречу «святой трагедии века» как высшей истине, «добыча» которой имела для него главный смысл творчества и бытия:

*Ты, критик,  
Как бы мы ни пели,  
Не говори, впадая в страх,  
Что наши песни не созрели  
Судить о горьких временах.*

*И не советуй нашим лирам,  
Воспевшим честные бои,  
Отдать трагедии свои  
Иным векам,  
Иным Шекспирам.  
Наг нами, говоришь, не каплет,  
Повергнут, говоришь, Макбет...  
Но жив народ — извечный Гамлет.  
Быть иль не быть?  
Подай ответ.*

Трагедия — это всегда высшая правда в искусстве, высший взлет человеческого духа, высшая народность.

Такова трагедийность «Слова о полку Игореве», трагедийность «Бориса Годунова» и «Медного всадника» Пушкина, «Демона» и «Песни про купца Калашникова» Лермонтова, трагедийность «Русских женщин» и «Железной дороги» Некрасова, «На поле Куликовом» и «Двенадцати» Блока; такова трагедийность «Облака в штанах» и «Хорошо!» Маяковского, «Черного человека» и «Анны Снегиной» Есенина.

Трагедийность действительности диктует и меру личной ответственности художника перед своим временем, народом.

Василий Федоров отлично осознавал, что «не всякое нагнетание ужасов есть трагедия». Останавливаясь «на понятии трагического в жизни и литературе», он неоднократно отмечал, что «не надо пугаться грустных, а порой и трагических стихов. Трагедия — удел лучших, передовых. Она не помешает нашему оптимизму. Мы оптимисты, ибо мыслим исторически».

Кажется, что это было совсем недавно.

Осенью восемьдесят второго года читал в журнале «Москва» прозу Василия Дмитриевича — его «Сны поэта».

Три новых рассказа из задуманной им книги: «С Пушкиным на балу», «Черная прядка букета» и «Катаклизм».

Сколько в них мудрости, сколько юмора, характерной федоровской иронии, особенно в «Сне», где все происходит в родной деревне поэта — Марьевке. Самое удивительное, что «Сны...» эти воспринимаешь как реальнейшую реальность. Между фантазией снов и картинами живой жизни, окружающей поэта наяву, вы не чувствуете никаких соединительных швов, столь органично и естественно они «стыкуются», переходя из одного качества в другое. Стремление Василия Федорова проникнуть как бы по ту сторону нашего сознания и — более — нашего земного бытия, потрясает своей дерзкой доказательностью и философским прозрением. Естественно, что, выстраивая свои «Сны...», Василий Федоров учитывал многовековой опыт народной фантазии, более того, он смело опирался на этот опыт, на мир народной сказки, мудрость притчи. Однако он был самостоятелен и оригинален. До Василия Федорова таких «Снов поэта» в литературе не было.

Всего шесть журнальных страниц — такова «площадь», занимаемая одним из «Снов...» — «Катаклизмом». Казалось бы, на такой ограниченной «площади» трудно, а то и просто невозможно развернуть эмоционально зримые, впечатляющие, реальные картины гибели Земли, гибели Человека и, вместе с тем, указать реальные силы и пути предотвращения возможной мировой катастрофы — того всемирного «катаклизма», угрожающего в наш атомный век жутким реальным кошмаром. Повторяю, казалось бы, на такой «площади» это сделать невозможно. Но безграничны возможности слова, если перед нами подлинный талант.

«Сны поэта» еще раз убеждают нас в этом. В нашей современной литературе, включая и научно-фантастическую, трудно найти столь афористически емкое, образное описание картин возможного «крушения мира», особенно в плане зри-

мого показа «распада» нравственных основ цивилизации и, вместе с тем, неистовой веры в светлый идеал человеческого разума, имя которому — коммунизм. Когда читаешь «Катаклизмы», то ясно видишь, что тревожит истинно великого поэта, чем он прежде всего озабочен.

«Катаклизмы» невозможно пересказать. Это эпическая, трагическая, оптимистическая поэзия в прозе. Ее надо читать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое в этой, не побоимся сказать, гениальной вещи.

Василий Федоров все время держит нас, читателей, в напряжении; фабула его «Снов...» насыщена острыми, неожиданными конфликтными ситуациями, интригующими поворотами сюжета... Давно уже не доводилось читать такой очаровательной прозы, по-пушкински богатой в слове, предельно естественной в своей «нагой простоте» и «легкости» стиля прозы. Уже сегодня «Сны поэта» в нашей словесности, бесспорно, явление примечательное и во многом — уникальное. Когда они выйдут отдельной книгой, это станет еще более очевидно.

Я коснулся лишь одного «Сна...», а другой — «С Пушкиным на балу». Какое проникновение в эпоху поэта, его окружение, наконец, его быт, в отдельные штрихи и, казалось бы, незначительные, случайные детали этого великосветского бала. А сам образ Пушкина?! Насколько он естественен и непосредственен, как живой! Превосходна в «Сне...» шумная, праздничная картина бала, где встречаются два поэта. Кажется, что ты сам присутствуешь на этом балу.

Когда читал федоровский «Сон...» «С Пушкиным на балу», невольно думал, как хорошо было бы, если бы Василий Дмитриевич смог вернуться к пушкинской теме. Какую преотличную повесть, а то, глядишь, и роман о великом поэте, мог бы он создать. Ведь Пушкин так ему близок. Он так тонко чувствует его душу, ощущает пушкинский

ум и сердце, так глубоко «сидит» в пушкинской эпохе. Наконец, будучи сам выдающимся поэтом России, Василий Дмитриевич острее и полнее других мог бы рассказать о трагической судьбе великого Пушкина, не склонившего гордой головы перед царем; Пушкина — пророка России.

Спустя некоторое время, при встрече, я попытался «уговорить» Василия Дмитриевича продолжить то ли в «Снах...», то ли в другой прозаической форме его «встречи» с Пушкиным.

После довольно длительного молчания он заметил:

— Возможно, ты и прав. Надо подумать... Хотя о Пушкине так много написано.

Не только поэмы и стихи, но и проза Василия Дмитриевича наглядно убеждают нас в непреложной истине: трагическое доступно лишь перу художника, сердцу которого доступны надежда и вера, для которого трагические картины не закрывают ощущение рассвета.

Трагическое в искусстве требует от художника самоотдачи его души и сердца, требует мастерства, а значит, творческой свободы, полной раскованности и овладения тем жизненным материалом, который положен в основу данного замысла.

Все это должно совершаться ради главного — Человека, раскрытия диалектики его души. Как однажды справедливо заметил Василий Дмитриевич: «В любом искусстве все начинается с человека и кончается человеком. Человек меняется. И для меня новатор тот, кто наиболее точно и полно изобразит его душевный мир».

Цельность натуры, искренность чувств, романтика постоянства, любовь, делающие жизнь прекрасной, неприятие всего мещанского, что убивает, калечит душу, — таковы некоторые отличительные черты федоровских героев. Каждый из них прост и мудр, как сама жизнь: «По главной сути жизнь проста: ее уста, его уста... А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций в куще



облаков? То все ошибки, все накладки. И заблуждения веков. А жизни суть, она проста. Ее уста... Его уста...»

Слушая исповедь нежного и мужественного сердца, полного доброты к людям, вы начинаете чувствовать, как светлеет у вас на душе, окружающий мир приобретает новые очертания и краски. «По тому, как людям любится, здоровье мира узнают», — справедливо утверждал Василий Дмитриевич.

Он любил родную землю, любил жизнь. На одной из своих книг, еще в 1976 году, он писал мне: «Дорогой мой... Дай нам бог побольше быть на этом единственном свете! Вас. Федоров».

Он был велик в своей любви к России — трудовой, народной... Вместе с тем, он всегда напоминал нам, что Земля — наш дом единый и все мы в ответе за нее.

Умер поэт. Жива его поэзия, его бессмертное пророческое слово.

Пройдет время. Будет издано многотомное собрание сочинений Василия Дмитриевича Федорова. Его поэзия, проза, публицистика, критика, эпистолярное наследие. И тогда, на расстоянии, предстанет во всей полноте и значимости его выдающийся вклад в сокровищницу отечественной и мировой духовной культуры.

Василий Стародумов

«КРАСИВЫМИ НЕ БЫЛИ,  
А МОЛОДЫМИ БЫЛИ...»



В. П. Стародумов, Ден. Цветков, Василий Федоров. 1941г.

Иркутск, 13 апреля, 1941 г. Справа налево: В. Д. Федоров,  
Д. М. Цветков, В. П. Стародумов.

«Красивыми не были, а молодыми были...» — такой автограф оставил Василий Федоров на своей «Книге любви» пишущему эти строки.

А молодость его начиналась, пожалуй, без всяких дальних прицелов на литературное поприще, хотя муза поэзии уже ходила где-то рядом с ним. Марьевский пастушок, водовоз, пахарь, учетчик фермы, младший счетовод, кассир колхоза, помощник бригадира — он уже в пятнад-

цать лет был членом правления колхоза, а как комсорг вел за собою молодежь. А потом учеба в Новосибирском авиационном техникуме, работа на Иркутском авиационном заводе, где я с ним и встретился.

Считаю нужным оговориться: я не литературовед и не критик, я просто давний друг поэта и как друг буду говорить о нем как о человеке.

1938 год. Иркутский авиационный завод молод — ему всего четыре года.

Помощник директора Карабач специально ездил в Новосибирск, чтобы законтрактировать для завода выпускников Новосибирского авиационного техникума.

Вместе с Василием Федоровым приехали Тимофей Репин, Александр Котов, Анатолий Егоров. Они закадычные друзья молодого поэта, и некоторые из них впоследствии станут прототипами героев его произведений.

В образцовом общежитии им выделили комнату № 19.

Друзья по общежитию жили весело. Василий Федоров любил заниматься физкультурой, много читал, без книги не ходил даже на Ангару. А еще он любил театр, и потому его тянуло в драмкружок Дома культуры.

Так и вижу его высоким, в простом дешевом костюме, зеленом осеннем драповом пальто, перешитом еще в Марьевке из пальто матери, в простых рабочих сапогах, в которых ходил даже на танцы. Правда, в первый же полученный им отпуск он уехал к родным в Новосибирск, откуда вернулся почти франтом: новый костюм, новое пальто.

— Ну все: с нищетой покончено! — торжественно заявил он мне и Денису Цветкову. — Все мои старые одежды сегодня вечером будут преданы огню!

И правда: за Домом культуры, на увале, развели костер и с шутками сожгли все, что было забракковано поэтом.

Как всякий молодой человек, он всегда интересовался чем-либо примечательными девушками. Как-то он обратил внимание на одну работницу завода.

— Ты не знаешь, кто это? — спросил он меня.

— Знаю. Дочь легендарного командира сибирских партизан — «Дедушки» Каландаришвили. Нина!

— И эта — Нина?..

Василий имел в виду Нину Березину, работницу ремонтно-механического цеха завода, активную участницу драмколлектива заводского Дома культуры. С ней у Василия завязалась крепкая дружба. Хорошая дружба была у него и с Тамарой Войцеховской и Вале́й Подышевой — родной сестрой поэта Джека Алтаузена по матери. Подышев-отец был Валиным отчимом. Это ей, Вале, будучи известным всей стране поэтом, через много лет Василий Федоров посвятит одно из своих лирических стихотворений: «Как хорошо, что за крутыми за гребнями...».

Упоминается Валя и в таком стихотворении: «Мне о том слагать бы оды...»

Надо сказать, творческая жизнь в заводском Доме культуры кипела в те годы поистине ключом, кружки художественной самодеятельности работали во всю мощь. А в драмколлективе активно участвовали и мы, работники редакции: я, Денис Цветков и Иван Кузнецов.

В пьесе Г. Мдивани «Честь» Василий Федоров играл главную роль — пограничника Надира, а в пьесе К. Тренева «Любовь Яровая» великолепно сыграл профессора Горностаева. Отклик этой поры нашел выражение в будущей поэме Василия Федорова «Седьмое небо».

Развлечения развлечениями, а работа для молодого специалиста Василия Федорова была прежде всего. Вот как характеризует его в журнале «Сибирские огни» № 8 за 1976 год ныне уже покойный Иван Кузнецов:

«Работал Василий Федоров в мастерской, которая находилась в стороне от цеховых корпусов. Он как-то выгодно отличался от других мастеров завода, зачуханных в конце месяца; особенно если «горел» план и директор завода лютовал. Конечно, дергали и Федорова, но он с достоинством парировал наскоки. Рабочие любили своего мастера. И пожилые, вдвое старше, относились к нему уважительно.

Каждая деталь — а их было много, сотни наименований — имела номер. То и дело звенел телефон на столе мастера. Просили посмотреть по документам.

— Скоро ли будут готовы детали?

— Какие?

Диспетчер называл десятка два номеров. И Василий сразу же отвечал ему, даже не тронув папку с дефицитками.

— Да ты не заливай; лень, что ли, заглянуть в накладные?

— Не веришь — зайди и проверь, — сдерживал себя Василий и повторял номера деталей. Он помнил их: хоть ночью разбуди и спроси — сразу же ответит.

— На кой леший тебе запоминать эти номера? — поинтересовался я как-то у Василия.

— Для работы.

— Остальные мастера обходятся без запоминания.

Василий пожимал плечами.»

Была и еще одна черта у молодого мастера: он любил настоящую, облагораживающую душу музыку. На кинофильм «Большой вальс» он с Денисом Цветковым в один из выходных дней засел на балконе в двенадцать часов дня и покинул кинотеатр только в двенадцать часов ночи, посмотрев, таким образом, все сеансы подряд.

Художник Денис Цветков, Иван Кузнецов трудились в заводской газете. Привлекли и начинающего поэта... Вначале как рабкора. Он писал за-



*Василий Федоров — секретарь Марьевской  
комсомольской ячейки. 1933 г.*

метки и очерки о рабочих своей мастерской. Будучи активистом новосибирского аэроклуба, он однажды принес нам очерк о своем первом самостоятельном полете, но подписался марьевским прозвищем «Василий Лёхин».

Со страниц нашей газеты не сходили в те годы стихи литейщика и формовщика того же цеха, где работал мастером Василий Федоров, Алексея Куделькина. Имя его было широко известно заводской общественности еще и как опытного музыканта.

Впоследствии, ознакомившись со стихами Куделькина, поэт Анатолий Преловский скажет: — Писал на профессиональном уровне.

Так вот, мы, работники редакции, узнаем, что и Василий Федоров пишет стихи, но на наши уговоры показать их сдался не сразу.

Самое первое стихотворение Василия «К матери» было опубликовано иркутской областной газетой «Советская молодежь» 18 января 1940 года.

*Говорила о юности,  
Вспоминала без радости  
Свою юность отцветшую  
Моя старая мать.  
Говорил ей: не юность ли?  
Повторял ей, не радость ли,  
Если песню веселую  
Можно вновь запевать.  
Не уйдешь недолюбленной,  
Не уйдешь недоласканной,  
И о прожитом станешь ли  
Горевать и рыдать?  
Говорю ей, не радость ли?  
Повторяю, не счастье ли?  
Если нам твои горести  
Не пришлось повторять?  
Скорби сердца не выбиться  
Криком чайки **подстреленной**.  
Счастьем яркими **перьями**  
В темноту не **влететь**.*

*Что ни час, то красивое,  
С каждым днем все уверенней  
По дороге намеченной  
Мы идем молодеть.  
Не вздыхай по ушедшему —  
По истоптанной юности.  
Радость в домик наш просится,  
Принимай ее, мать!*

Стихотворение это Денис Цветков тайком, без ведома автора, унес в редакцию иркутской областной газеты, однако, как пишет Василий Федоров в тех же записках «О себе и близких», «...значения этому не придавал, посчитав все случайностью». И вообще-то нам, его окружению, казалось, что Василий относится к поэзии просто как к хобби: любит поэзию — вот и все!

Библиотечка у него была небольшая, состоявшая из любимых им авторов: Щипачева, Гейне, Гете. Особенно он любил Надсона, томик которого часто таскал с собой. Говаривал:

— Не прав Маяковский, отзываясь о Надсоне пренебрежительно.

Знаменательным событием в жизни нашего заводского литобъединения было проведение первого литературного конкурса, жюри которого возглавляли Иван Иванович Молчанов-Сибирский и Игорь Урманов. На этом конкурсе одну из премий поделили пополам Василий Федоров и Алексей Куделькин.

Началась Великая Отечественная война. Завод принимает людей и оборудование родственного завода, эвакуированного из Москвы. Добровольцем уходит на фронт Нина Березина, Иван Кузнецов ушел служить на Тихоокеанский флот еще до войны. Вскоре был призван в армию и Денис. Потом и я. Отправили сначала в Омск. В полковом клубе меня числили художником. А Василий Федоров перевелся в Новосибирск на родственный завод.





*В. Д. Федоров в Иркутске. 1939 г.*

Как-то начальник клуба сообщил мне:

— Знаешь, я обнаружил в одной роте очень интересного курсанта, хочу представить его тебе, он — поэт, будет помогать тебе писать частушки и инсценировки для клубной художественной самодеятельности. Нужный нам товарищ.

И вот передо мной высокий и довольно красивый молодой курсант-танкист. Но боже мой! В каком он был виде! Солдатское обмундирование сидело на нем мешковато.

— Наум Гельдштейн.

Разговорились, уточнили, кто есть кто. Оказалось, что оба мы уже печатались как поэты, я —

в иркутских журналах, Наум — в «Сибирских огнях». Но не это было полной неожиданностью.

— Знаешь, — как-то в пылу откровения признался Наум, — в Новосибирске мне пришлось расстаться с самым лучшим моим другом...

— Кто же это?

— Василий Федоров.

Моему удивлению не было границ.

— Так ведь Василий Федоров и мой друг по Иркутску, — только и смог воскликнуть я.

С этой минуты мы близко сошлись с Наумом. Всесторонне развитый, эрудированный, он всегда вызывал меня на разговор о литературе, от него я узнал точный адрес Василия Федорова.

Свои стихи и письма Наум хранил в узком, недлинном, наподобие чулка, матерчатом мешочке, хотя имелаась у него и сумка-планшетка. А писал ему, помимо Василия Федорова, многие. Наум охотно посвящал меня в содержание писем. Особенно были интересными письма Елизаветы Стюарт, и всегда она прилагала к письмам листок чистой бумаги на ответ, — с последней в то время было очень туго.

Пребывание Наума в полку было недолгим. Летом 1944 года он трагически погиб: рота, в которой он находился, была послана на разгрузку бревен с баржи на Иртыше. Под одним из бревен Наум, поскользнувшись, упал, и бревно зашибло его насмерть.

В третьем томе «Литературного наследия Сибири» (Новосибирск, 1974 год) Василий Федоров на основе моих писем и своих воспоминаний о дружбе с Наумом Гельдштейном в Новосибирске, до его отъезда в Омск, напечатал статью «Грозный диссонанс». Елизавета Стюарт в этом же томе выступила со статьей о Науме «Душевная щедрость». В этой статье есть упоминание о выходе в Новосибирске коллективного сборника молодых поэтов «Родина» (Новосибирск, 1944 год), где впервые выступил в «большой» печати и Ва-

сильий Федоров (первая отдельная книга его — «Лирическая трилогия» — вышла в Новосибирске лишь в 1974 году). Наум этот сборничек «Родина» вручил мне сам.

В 1948 году заводская газета отмечала свое пятнадцатилетие. Василий Федоров, тогда недавно заочно поступивший в Литературный институт имени Горького, к этому времени перешел на очное и уехал в Москву. Оттуда он прислал нам в редакцию письмо:

*«Как я жалею, что не могу принять непосредственное участие в празднике, посвященном 15-летию заводской газеты, напечатавшей когда-то мои первые стихи и очерки. Я благодарен ей за то, что она поддержала во мне творческий интерес к литературе, помогла мне найти связь между поэзией и жизнью. Для меня сегодняшняя моя учеба в институте — это продолжение учебы, начатой в цехах завода, где я работал мастером. Газета сыграла в этом большую роль. Мне кажется, что имя мастера штамповочного цеха поможет мне стать мастером нештампованной поэзии. Этому я и учусь. За газетой я всегда вижу ее многочисленных создателей — весь коллектив завода, своих друзей, с которыми я жил и работал. Из всех своих пожеланий я считаю важным одно: чтобы в нее доверчиво шли рабочие и служащие, инженеры и техники, рационализаторы и поэты с самыми задушевными мыслями и чувствами. Говорят, что лицо — зеркало души. Я желаю заводской газете быть лицом заводского коллектива.*

Москва, Литературный институт имени Горького  
Василий Федоров»

Мечта его сбылась, о чем он в 1960 году хорошо сказал в своем стихотворении «Мастер»:

Три года живу я в столице,  
Люблю я столицу... и вот,—  
Когда она вся озарится,  
То чем-то напомнит завод.  
Припомнится город мне близкий,  
И тут же представится мне:  
Летят автогенные брызги,  
Скользят по кирпичной стене.  
И вдруг с нечего затоскую,  
Да так, что сдержаться нет сил,  
Я вспомню тогда мастерскую  
И цех, где я мастером был.  
Представляю на миг лишь единый  
Пролеты больших корпусов,  
Бульдозеров гнутые спины  
И вздохи чугунных прессов.  
Рабочих — за именем имя  
Проходят минутой такой,  
И вот я представляю, что с ними  
Работает мастер другой.  
И может быть, так, между прочим,  
Хорошую память храня,  
Какой-нибудь старый рабочий  
Ему говорит про меня:  
— Москва, мол, кому не приснится,  
И он-де, упрямый такой,  
Уехал за песней в столицу,  
А песня живет в мастерской.  
И скажет еще, что теперь я  
Решил поучиться и сам,  
Охотно уйду в подмастерья  
К московским большим мастерам.  
Тогда неумным желаньем  
И верой наполнится грудь,  
Что я свое прежнее званье  
Сумею обратно вернуть \*.

---

\* Несколько иной вариант стихотворения опубликован в Собр. соч. В. Федорова в трех томах. М.: Молодая гвардия, 1975 г. (Здесь и далее примечания составителя).

Прошло шестнадцать лет с того дня, когда Василий Федоров отбыл из Иркутска в Новосибирск, а затем — и в Москву. Но переписка его с нами не прерывалась. Первое время, до вселения в благоустроенную квартиру на Кутузовском проспекте, он жил в небольшой, в 13 кв. метров, комнате в переулке Садовских. Тогда он жаловался мне, что три его соседа по квартире — музыканты, контрабасисты.

Первый послевоенный приезд Федорова к нам, в Иркутск, состоялся в августе 1957 года. Я шел в редакцию, вижу: стоят около фабрики-кухни Денис Цветков и — он! Трогательно расцеловались, Федоров бубнит:

— Черт, да он за эти шестнадцать лет не только не постарел, а наоборот — помолодел!

Встретились вечером на квартире Дениса. Выпили чарочку, закусив дефицитным омулем. Таким деликатесом Василий лакомился, не скрывая удовольствия. Потом зачитывал нам главы из своей поэмы «Проданная Венера».

Надо ли говорить о том, насколько мы были восхищены этим произведением, ставшим одним из самых популярных и любимейших читателями.

К нам зашел Николай Бердников, работавший когда-то мастером вместе с Федоровым. Николай отвез меня, Цветкова и Федорова на своей машине ко мне.

Дома я подарил Василию сборник «Песни родного края», а он мне — повесть «Добровольцы», с такой надписью: «Дорогой Вася! Я не забывал тебя все шестнадцать лет! И не забуду!»

С Валею Подышевой, уехав из Иркутска, он больше не встречался. Она вышла замуж, но неудачно и вскоре тяжело заболела. Но и больная следила за появлением его стихов в печати, искренне радуясь его успехам.

В один из приездов в Москву я познакомился с женой поэта — бывшей его однокурсницей по Литературному институту, журналисткой и поэ-

тессой Ларисой Федоровой. Разъездным корреспондентом журналов «Смена» и «Крокодил» она довольно часто была в командировках, оставляя поэта наедине с его поэзией.

Когда они жили уже на Кутузовском — в хорошей благоустроенной квартире, у Василия Федорова наконец-то появился свой, правда небольшой, кабинет. Но он был рад, хотя и жаловался, что слышит всю работу лифта, особенно в ночное время. Пространство от двери его кабинета до площадки, где останавливался лифт, действительно было минимальным.

Звоню однажды в его квартиру, открывает он сам, закутанный в махровый зеленый халат, и горло чем-то теплым увязано.

— Как хорошо, что ты заглянул, я тут один скучаю. Жена в командировке. Ангину где-то подхватил... Комнату проветривал...

А проветривать его кабинет была острейшая необходимость, курил он по две пачки в день...

— Ты бы хоть в большую комнату перебрался,— посоветовал я ему.

— Лара предлагала, но я больших комнат не люблю, как-то теряюсь в них.

И вдруг он увидел, что я достаю из портфеля сверток.

— Омуть? О-о, да как же ты догадался? Байкальский омуть... А у меня к нему и еще кое-что найдется.

— Но как же твоя ангина? — усомнился я.

— Как раз средство против ангины. Хочешь, похвалюсь? Одна критикесса, довольно милая женщина, написала о моей поэзии литературоведческую книжку. Вот посмотри гранки.

«За красоту времен грядущих» прочитал я на книге Искры Денисовой.

Я горячо поздравил друга.

В 1964 году мы с женою ездили в Киев по грустным семейным обстоятельствам: хоронить сына, утонувшего в Днепре. Обратный путь был через Москву. Мне не хотелось омрачать чуткого к горю друзей поэта, но так хотелось его увидеть. После долгих колебаний все-таки решили зайти. И поэт и его супруга как могли утешали нас. И горе как-то смягчилось. Поэт подарил мне сразу две свои новые книги — разных изданий «Седьмое небо». Надпись соответствовала нашему общему настроению: «Васе Стародумову с запозданием в печальный час встречи. Крепись, Вася! Годы уходят! Красивыми не были, а молодыми были. 2.VI.64 г.».

В 1973 году я и моя жена вновь побывали на Кутузовском. И опять Василий Федоров подарил мне новое дополненное издание «Книги любви» и книгу своих размышлений «Наше время такое». Подарила свою новую книгу и жена поэта: сборник рассказов и повестей «Анатольевна и сын», изданную в «Советском писателе».

Как я потом обнаружил в своей библиотеке, Василий Федоров дарил мне почти все, что выходило у него в печати. После самой первой книжки («Лирической трилогии», изданной в Новосибирске в 1947 году) вышли «Лесные родники» (уже в издательстве «Молодая гвардия» в Москве). Перерыв был довольно длительным — восемь лет. И это не могло не сказаться на настроении поэта, с каким он сделал автограф при дарении: «Дорогой Пантелеймонович, спасибо тебе, что не забыл бедного поэта, благодарного за добрую память друзей. Прошу простить мне, что в этой книге еще нет того, что должно бы в ней быть. 6.I.56 г.».

Дружили мы по-мужски — сурово, без лишних откровенностей, вот почему я могу лишь подозревать, что поэма «О ней», включенная в небольшой сборничек «Лирической трилогии», основана на действительном факте его биографии новосибир-

ского периода. Еще в армии Наум Гельдштейн рассказывал мне, что Василий был увлечен эвакуированной из Ленинграда артисткой. О ее судьбе рассказано в поэме «Далекая...». Да, героиня после окончания войны претерпела большие изменения. Той одухотворенности, какая была в девушке из поэмы «О ней», он в замужней женщине, отгородившейся от скромного поэта догрым чайным сервизом, уже не нашел...

Помнится, когда я читал поэму «Обида», открывающую «Лесные родники», не мог сдерживать слез, так она взволновала, тронула меня. Тронула также помещенная в этой книге поэма «Ленинский подарок», поражающая умением автора распорядиться диалогом и логикой разработки темы. Перечитывая сейчас книгу Искры Денисовой, считаю, что она безусловно права, сказав: «Очень, конечно, помогает здесь автору его блестящее владение драматургическими средствами — диалогом, репликой, ремаркой (быть может, недалек тот день, когда Василий Федоров порадует своих читателей пьесой в стихах!)». Нет, не успел...

Последние годы Василий Федоров часто побаливал, перенес несколько тяжелых операций. Может быть, только потому он так и не мог посетить мою дачу «Омулевая бочка». Спрашивал в письме: «А черемша там у вас растет?» Я отвечал: «Не только черемша». «Тогда обязательно приеду», но... вместо него из Новосибирска приехал Иван Кузнецов, поэт, руководивший тогда литературным объединением «Молодость». В Новосибирске он сблизился с Евгением Раппопортом и другими писателями, а в Иркутск он приехал за сбором материалов о Василии Федорове, которые впоследствии вошли в его мемуары «Просыпалась душа, вся полна соловьями», опубликованные в журнале «Сибирские огни» № 8, 1976.

Гостил Иван Кузнецов у меня на даче «Омулевая бочка» вместе с Денисом Цветковым и Виталием Рудых (автором повести «Пьяный бык»).



Вскоре, из-за болезни жены, я продал дачу, чем вызвал большое недовольство со стороны Ивана Кузнецова и Василия Федорова, высказанное в их письмах.

Два имени в литературе всегда были и будут особо чтимы мною, это Михаил Шолохов и Василий Федоров, оба ушедшие из жизни в 1984 году. С одним мне довелось переписываться, с другим — быть связанным долгодетней дружбой. Как тут не вспомнить слова известного критика и литературоведа Юрия Прокушева, предпосланные к одной из книг Василия Федорова: «Я давно знаю и люблю этого поэта. Его стихи и поэмы по силе драматизма, образности, эмоциональной напряженности более всего созвучны эпическому дыханию шолоховской прозы». Сейчас я очень жалею, что не довелось побывать на его подмосковной даче «Хутор Гаврилов». О ней и самом хозяине — Василии Федорове — очень хорошо рассказал в своем стихотворении побывавший здесь гостем поэт Леонид Решетников:

*Наряду с Москвой и Меккой,  
Даже Вешенской самой,  
Есть на свете хутор некий  
Меж Калугой и Москвой.*

Но Василий Федоров, неизменно влюбленный в свою родную Марьевку, расположенную в Кемеровской области, для работы обосновался все же в ней, на Назаркиной горе.

Мечта побывать у Василия Федорова в его Марьевке зрела у нас с Денисом давно. Вопрос о поездке туда решила телеграмма самого поэта — он приглашал нас в Кемерово на 24 июля 1980 года — с тем, чтобы мы — его «крестные литературные родители» — присутствовали на его творческом вечере. «Номера в гостинице будут вам забронированы». К сожалению, обстоятель-

ства не позволили нам уложиться в назначенный срок. А вскоре нас вызвала на переговоры редактор Кемеровского книжного издательства Тамара Ивановна Махалова. Она рассказала нам, что творческий вечер Василия Федорова прошел очень интересно и торжественно («его буквально завалили цветами»), но сам он очень устал от него и уехал в свою Марьевку совершенно разбитым. Потом добавила:

«Кемеровская телестудия решила создать о Василии Дмитриевиче телеочерк непосредственно в самой Марьевке, но вот беда: Василий Дмитриевич, который вообще не любит всякой шумихи и выступлений, на этот раз наотрез отказался принять наше предложение. А уже подготовлена съемочная группа. Но мы надеемся его уговорить и хотели бы заснять также его встречу с вами. Только, чтобы Василий Дмитриевич не знал заранее о вашем приезде».

Забегая вперед, скажу, что задумка эта не вся удалась\*.

Итак, мы едем в Кемеровскую область, на станцию Яя, от которой до Марьевки всего двенадцать километров.

До Марьевки добирались автобусом. Трудно передать словами то состояние, которое охватило нас, ступивших на землю, подарившую нам большого национального поэта. И мы мысленно обращаемся к деревне: низкий поклон тебе, Марьевка, давшая миру большого поэта.

Сочетание старого с новым в Марьевке, как, впрочем, всюду ныне, резко бросается в глаза. Минувя двухэтажное здание правления мясо-молочного совхоза «Марьевский», выходим через березовую рощу на улицу деревни, в конце ко-

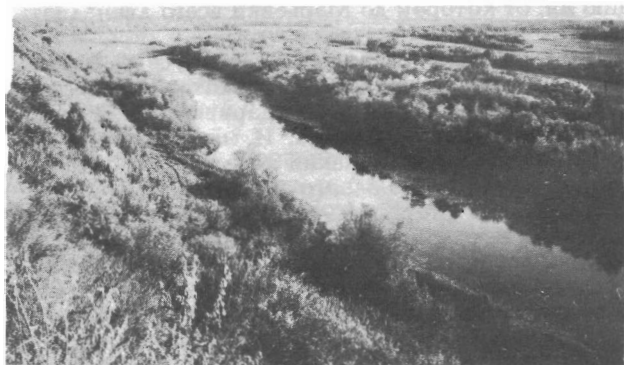
---

\* Кемеровская телестудия очерк о В. Д. Федорове с его участием создала летом 1980 года, называется он «Здесь отчий дом», автор сценария Т. Махалова, режиссер Н. Ставцев, оператор С. Мякишев.

торой на возвышенном месте, прозванном Назаркиной горой, стоит дом Василия Дмитриевича Федорова.

С горы открывается великолепный вид на всю низменность с ее лугами и лесными зарослями, среди которых проблескивает местами змейкой извивающаяся речка Яя. Прямо под горой, как бы в заколдованной дреме, лежит озеро Кайдор. Желтые кувшинки, белые водяные лилии и заросли камыша и осоки придают озеру ту первозданную красоту, которую теперь не так-то просто встретить. Мимо озера уходит в далекое лиловеющее марево отгибающаяся откос Назаркиной горы дорога.

Открываем калитку «горы». Дом от ворот стоит на порядочном расстоянии, ближе к обрыву, под которым озеро Кайдор. Трава зеленым-зелена. Порядком уже насажено и деревьев. И конечно же, подле крыльца — самосев сибирской неприхотливой черемухи... Больше всего, конечно, травы — пышной и высокой...



*Марьевка. Вид с Назаркиной горы на о. Кайдор; вдаль — река Яя. 1980 г.*

Собачонка, черная, с белой грудкой и белыми лапами, все лает и лает, оповещая хозяев о «чужих»...

Но что же они не выходят на крыльцо? Оказывается, хозяин дома спал, утомленный бесплодными поездками на мотоцикле к станции Яя для встречи нас, а жена поэта уехала в Тюменскую область в родное село.

Наконец умная Жучка догадалась сбегать полаять под самое окно кабинета, где спал поэт, и он широко распахнул дверь.

— Вот черти полосатые! Я из-за вас вторую ночь не спал.

Объятия были бурными. Мы сразу перешли на восклицания, прославляя здешние красоты и основательный дом на каменном фундаменте. На гребне шиферной крыши сплошной цепочкой сидели и ворковали полевые голуби.

— Ладно, мужики, пошли в дом, надо едой заняться, Лара у родных гостит. Так что займемся кухней сами...

— Дозволь сначала жилище твое посмотреть. Кабинет показывай. Окнами, конечно, на сибирские просторы?

— Как же поэту жить и писать без просторов? — отшутился хозяин. — Однако давайте смотреть по порядку. Это, как видите, прихожая. Она небольшая, но — сам планировал! — делит дом на две половины: Ларину и мою. Ее окна смотрят на Марьевку. Это и кстати: вот уже несколько лет она пишет о марьевцах свои записки. Да и повесть «Во днях Марии»\* — тоже о них... Ну, ладно, идемте на мою половину...

Первая маленькая комнатка метров на восемь была спальней, вторая — метров пятнадцать — кабинет поэта. В нем все просто и строго: кро-

---

\* Основанная на марьевских впечатлениях книга Л. Ф. Федоровой «Во днях Марии» (повесть и рассказы) вышла в свет в 1982 году в издательстве «Современник».

вать-диван, большой письменный стол светлого тона, сейф для рукописей, навесная книжная полка, где рядом с книгами по философии стояли книги о лекарственных растениях. Как видно, поэт увлекался изучением лекарственных трав. Он тут же подтвердил нашу догадку: «Знаете, сколько лекарственных трав насчитал я на нашей горе? Около тридцати. Я уже не говорю о тысячелистнике и ромашке — их тут целые ковры...»

И тут же переключился на аккуратно сложенную печку, так называемую шведку. Была в ней и небольшая открытая плита — для вечернего чайника...

— Думаете, тут ее миссия и закончилась? Нет! Она переходит в русскую печь, которую вы увидели еще в прихожей. Это не просто печь, а печь-комбайн, ее мне местная знаменитость по печам складывала — некий Иван Павлович... Об этой печи у меня один из «Снов поэта» написан...

Мы тут же поспешили на кухню, чтобы полюбоваться столь замысловатой русской печью. Что удивляло — так это множество задвижек... И еще: со стороны прихожей — высокая бортовка печи в том месте, где на нее хорошо бы запросто влезть для прогрева радикулита...

— Так ведь я тут лишь летом живу, зачем мне на нее лезть,— оправдывал поэт замысловатого печника.— Зато в этой бортовке дымоходы сделаны для обогрева всего помещения.

— А баню мою видели? — спросил поэт.— Как все-таки поздно иногда исполняются наши многолетние мечтания... Повозился я тут с нею ото всей души. Я ее, как поэму, творил. Боюсь, что перестарался: Лара сказала, что облюбовала предбанник для писания стихов... Я имел неосторожность сказать однажды, что когда она стучит на машинке дома, то это мне мешает...

Что же, баня оказалась и впрямь симпатичной: просторная, светлая. При случае, если много на-

грянет к поэту гостей, она могла бы сойти и за гостиницу.

— Так уже и было! — подтвердил Василий. — Есть у меня в Кемерове приятель — поэт Валентин Махалов. Человек сверх меры компанейский. Так вот однажды смотрим мы в окно, а к нам в ворота целый автобус въезжает. Оказывается, Махалов подобрал на одном заводе любителей поэзии и всех пригласил к нам на Назаркину гору. Сначала мы с Ларой опешили: все-таки человек двадцать было. Ведь с ночевой люди приехали, в субботу. Однако благодаря бане все обошлось. Сделали коллективный выезд на луга, к реке, а там... — Поэт засмеялся, припомнив неудачную рыбалку. — Рыбы хотя и не поймали, но кемеровцы догадались с собою барана прихватить. Жарили шашлыки! А баню мы к вечеру непременно истопим! — пообещал нам поэт.

С особой гордостью показал он нам небольшие, славно принявшиеся на Назаркиной горе кедровые. И несколько дубков.

— Если б все это принялось, зазеленело, — лучшей памяти о себе я бы и не хотел.

— Как же так? — возразили мы. — А твои книги?

— Книжки — это моя обязанность. А деревья — статья другая. Посадить дерево смог бы каждый марьевец. Вот я хотел показать пример, увлечь их... Да только вряд ли... Хватает марьевцам и того, что они хлеб выращивают и скот откармливают. Тут уж я в идеализацию впадаю... — и вдруг спохватился: — Хотите посмотреть мои родники? Они тут, под горою. Вы давайте спускайтесь с горы пешком, а я сейчас выведу своего «Пегаса» — мотоцикл «Урал», поставлю две фляги и поеду к роднику за водой. Поручусь, что такой воды, как из марьевских родников, вы еще нигде не пивали...

Тут я вспомнил его знаменитое стихотворение о марьевской хранильнице родников — столет-

ней Кузьмиче... Вот и восприемник на сохранность родников нашелся, да еще в звании поэта!

Поэт распахнул ворота, поставил в коляску две большие фляги и, взглядом показав, с какой стороны горы следует нам спускаться к озеру, на самой малой скорости поехал туда же.

Спуск к роднику оказался довольно крутым, влажным. И мы невольно придерживались то за высокий крепкий дягиль, то за какой-нибудь кустарник. Озеро Кайдор после ночи чуть отдавало туманцем. Уже слышалось лепетанье воды, чем-то усиленное...

К подножию склона ловко был пристроен деревянный лоток, а в его углубление положена сваренная двумя плоскостями железяка. Она-то и придавала тихому родничку звучанье.

— Ну как? — спросил поэт, одной рукой держа над лотком ковш, другой отгоняя от себя мошку.

— Отлично! — воскликнули мы разом. — Ну-ка, дай ковш, попробуем!

— Теперь к моему роднику и другие с флягами ездят. Но ведь за ним следить надо, отгребать с лотка палые листья. Боюсь: уеду — забросят...

Жив ли ты сейчас, федоровский родничок?

После кабинета в федоровском доме больше всего впечатляла кухня. Просторная, она походила больше на столовую. Стол в ней поражал своими размерами, его делали на заказ на Яйском лесопромышленном комбинате. У стены перед столом — деревенская скамья, застланная половичком. Холодильник. Кухонная плита, на которой мы потом готовили. Печка-комбайн начала нам нравиться. Однако, когда плиту затопили, то из дверки повалил густой дым: оказывается, Денис не разобрался в многочисленных задвижках.

Веселое было у нас в то утро застолье. И отменно хороша была марьевская картошка — такая рассыпчатая, что и вилкой ее поддеть боязно:

не донесешь! Давно не пили мы и настоящего деревенского молока. Яйца на столе тоже не от инкубаторских кур...

— Это Акулина Борисовна мне поставляет,— говорил поэт, имея в виду свою марьевскую однофамилицу.— Наши марьевцы вообще пустого двора не любят. Некоторые по три поросенка сразу откармливают, при каждом дворе корова, а то и две. Про кур я уж не говорю. И гусей много... Лара их, правда, боится. Она ходит купаться на мостик, а они тоже Кайдор любят...

Легко и непринужденно текла наша беседа. Потом Василий стал расспрашивать нас о заводе, о людях, которых знал. Спросил о Тамаре Войцеховской, о Вале... Она все еще находилась в больнице.

— Жаль, что не сложилась ее судьба. Очень жаль! — повторял поэт.

— Дон-Жуана-то скоро женишь? \*

— Женил! Да вот какое дело: в тюрьму он у меня попал. Не знаю теперь, как и выволочить... Но он дрался за честь своей любимой. Негодяев надо учить.

Тут я вспомнил, что мы с Денисом явились к нему не без подарков: Денис привез ему свое полотно: «Ночное», а я вручил поэту дружеский шарж с эпиграммой:

*Есть в сватовстве зигзаги*

*в ходе плана,*

*Подчас таят и бумеранг они,*

*Сумев женить на русской Дон-Жуана,*

*Он и себя на классике женил.*

Василий был изображен связанным цепью Гименя вместе с обнимающейся у него на руках четою: Наташей и Дон-Жуаном. Последнего я изобразил по-русски: в кепке. Но от былых времен он держал в руке шпагу и шляпу с пером...

\* Отдельным изданием впервые поэма была опубликована в 1977 году изд-вом «Современник».



Когда перешли в кабинет, я взял с книжной полки несколько федоровских книг и как бы взвесил их на ладони:

— Ну-ка, сознавайся, небось приятно держать в руках такие томики?

Василий задумчиво развел руками.

— Ну разве что в первые минуты. Как результат труда. А потом, когда у тебя новые замыслы... Тогда относишься как к пройденному этапу. Я полагаю, что такое чувство отрешенности есть у каждого писателя, если он творчески активен... Замысел не дает оснований топтаться на старом...

Пять дней, проведенных у поэта на Назаркиной горе, пролетели незаметно. Мы ходили к реке, купались, рыбачили, искали грибы в окрестных колках, но лето было засушливым, и поэт огорчался, что, кроме шампиньонов на лугах, иными грибами порадовать нас не может.

Как я заметил, вечер для поэта Василия Федорова был излюбленным временем для бесед. Мы выходили из дома на крылечко, возле которого росли черемуха и чистотел, садились на ступеньки и, глядя на опускавшееся солнце, которое высвечивало на горе каждую травинку, начинали разговор о литературе. Василий по нашей просьбе читал свои новые стихи. Читал, как всегда, артистически, так что после его чтения мы не без робости преподносили ему свои литературныеopusy... Хоть мы и гости, а если он замечал «не то», пощады нам не было.

— Знаете анекдот про швею? «Ты, кума, вижу, неправильно шьешь». «Сама вижу, что неправильно. Вот дошью и перешивать буду». Бывает, что и хороший поэт «шьет» с самого начала не так... А ведь надо сразу брать быка за рога. Сразу! Иначе труд впустую будет. Ищите красоту, думайте о ней в первую очередь. Еще главнее идея замысла, ведь не ради одной красоты ты взялся

за перо. Но бывает и так: крыша есть, фундамент вроде бы выведен, даже канализация есть, короче: вот он, ваш дом! А где в нем красота?

Тут Василий Федоров комически развел руками: — А красоты-то и нет!

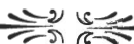
Конечно, мы старались беречь его время. Денис уходил на зарисовки пейзажей, я — просто побродить по Марьевке. Радовало, что по ее улице с двух сторон тянулись длинные траншеи для будущего водопровода. Возле одного из домов слышу, что в траншее хрюкает свинья. А народу на улице никого. На работе народ. «Как же тебе помочь, бедолага?» — вслух произнес я, имея в виду хавронью.

— А пока механизаторы с полей не приедут — никак! — сказала мне подошедшая женщина лет шестидесяти. — Да вы за нее не переживайте, вытасят, ведь ничего у нее не поломано. Видите, как плечом в стенки бьет... А вы, кажется, в гостях у нашего поэта? Их тут не забывают: то из Кемерова едут, то из Анжерки, то из Мариинска экскурсия... А меня Екатериной Никитишной зовут, я у них часто бываю. Между прочим, тоже к стихам отношение имею.

Смотрю на собеседницу. В годах, конечно, а не старая! Лицо живое, улыбающееся, доброжелательное. Мы с ней потом долго переписывались, Екатерина Никитишна Авсиевич охотно сообщала мне в Иркутск марьевские новости. И все спрашивала, не собираемся ли мы с Денисом еще разок-другой появиться в Марьевке?

Не пришлось. С полной отдачей сил жил на свете поэт Василий Федоров. Вот почему и не дожил до старости.

Февраль 1985,  
Иркутск



Денис Цветков

**В НАЧАЛЕ ПУТИ  
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ В ИРКУТСКЕ**



*Открытие мемориальной доски на доме, в котором с 1938 по 1941 год жил В. Д. Федоров. Иркутск, улица Жданова, 28 (общее житие № 7). 1 ноября 1985 г. Второй слева — В. П. Стародумов, второй справа — Д. М. Цветков.*

Мне очень трудно говорить о моем друге. Тем более — писать. Трудно потому, что он — личность.

Вспоминаю и вижу его таким, каким был Василий Федоров в те далекие, предвоенные годы, когда жил в Иркутске и работал мастером в штамповочном цехе авиационного завода.

## ЗНАКОМСТВО

Сколько раз я пытался вспомнить: как, при каких обстоятельствах мы познакомились, но так и не вспомнил. Много позже, при встрече у меня дома, в 1957 году, вспоминая бывшее, я уже решился было спросить об этом у него. Но он опередил меня тем же вопросом.

Мы тогда от души посмеялись. А потом он сказал:

— Ну, да шут с ним, где, как встретились, неважно.

Лишь совсем недавно, уже после кончины поэта, мы как-то разговорились с Василием Стародумовым, все перебрали, но первую встречу, вернее знакомства, так и не припомнили. И тут Василий Пантелеймонович вдруг сказал: «Ты посиди немножко, а я сбегаю в магазин за хлебом, а то он скоро закроется на обед». И ушел. А я вспомнил! Вспомнил все, как это было!..

В 1937 году, осиротев, я переехал в Иркутск к брату и временно стал работать продавцом в маленьком магазинчике возле молодежного общежития.

Обычно в магазине народу было мало, особенно днем. Вечером, после работы, торговля шла оживленной. В тот день мы работали на пару с опытной продавщицей, и вот она подходит ко мне и говорит: «Тебя, Денис, зовет какой-то парень. Вон стоит у прилавка. Иди, я за тебя поторгую». Я пошел. У стойки стояла компания молодых людей. Один из них, тот, что был всех выше, с пышным чубом, в косоворотке, поманил меня к себе пальцем. И как-то по-свойски, подмигнул, будто мы были давние дружки-приятели.

— Слушай, друг,— зашептал он,— будь добр, отпусти. Некогда, понимаешь. На работу опаздываем.— И сунул мне чек на крупную сумму. Я взвесил колбасы, масла, выставил банку томатного сока. А парень смеется, показывая на водку:

— А на довесок подай-ка вон ту «гусыню».

Я подал. Покупки пришлось подавать через головы покупателей, но никто не ругался, ибо молодой человек был до того симпатичным, так обаятельно смеялся, шутил, что сердиться на него было просто невозможно. Дня через три Долговязый, как я окрестил его про себя, опять зашел в магазин. День был будний, народу почти никого, продавцы скучали. Еще от двери, идя к кассе, он помахал мне рукой. Выбил в кассе чек, подошел ко мне. Поднял обе руки, сцепив над головой, потряс: «Привет, Денис!»— сказал он мне будто давнему знакомому. Откуда он знает, как меня зовут? — думал я. И вообще, что это за парень? Я отпускал ему товар, а сам искоса на него поглядывал: волосы аккуратно пострижены, чуб свисает немного. Глаза с хитроватым прищуром, добродушной лукавинкой. Уж и не припомню, как он был одет,— скорее всего, так же, как и при первой встрече, а вот во что обут был, помню хорошо: как ни странно, в кирзовые сапоги. Ну, если б на улице слякоть была, это еще так-сяк, а то на дворе стояла теплая, солнечная погода, а этот чудак ходил в огромных сапожищах!..

Между прочим, когда мы подружились и встречались почти ежедневно, я Васю чаще видел именно в сапогах. На вопрос, почему он их носит, ответил: «Во-первых, туфли носить жалко, они у меня одни, так сказать выходные, а во-вторых, сапоги практичнее: и ноге простор, и ходи где хочешь».

Работа у меня была посменная, времени свободного много. А я любил читать, благо рядом в Доме культуры хорошая библиотека. В «читалке» всегда было светло, чисто, тепло. Столы, стулья, а у стен несколько старинных диванов и кресел. Сидишь, бывало, читаешь-читаешь да и вздремнешь малость. Как-то отработал я первую смену и пришел в библиотеку. Тогда только что \* был

\* Роман «Угрюм-река» (1—2 тт.) издан в 1933 году.

издан роман «Угрюм-река» Вячеслава Шишкова. В библиотеке эта книга была в считанных экземплярах, поэтому ее выдавали читать только в читальном зале.

Взял я «Угрюм-реку», уселся поудобнее на диванчик, стал читать. И незаметно уснул. Вдруг чувствую, кто-то книгу у меня из рук тянет, а я хоть и сплю, а книгу не отдаю, крепко держу. Когда протер глаза, вижу: сидит рядом со мной тот самый молодой человек и широко улыбается. И первое, что он мне сказал тогда, было: «Денис, Денис, идешь ты против бога! — И рассмеявшись, добавил: — Ну как, интересная книга?»

Тогда мы познакомились уже как следует. Он рассказал о себе: кто он, как зовут, где живет, что делает, откуда родом. Мы оказались земляками. Он — из Новосибирска \*, а я из села Нижний Чулым Новосибирской области, тогда — Западно-Сибирского края. От нашего села до Новосибирска было около четырехсот километров, а это по сибирским меркам почти что рядом.

Но в читальном зале говорить да и шептаться не положено, поэтому он предложил:

— Идем ко мне, поговорим, родные края вспомним...

Я сдал книгу, получил назад свой паспорт, и мы пошли с Васей к нему в общежитие.

### ОБЩЕЖИТИЕ № 7

Это общежитие и сейчас существует. Есть в нем комната № 19. Вот в этой комнате и жил Вася Федоров — мастер штамповочного цеха. Но расскажу все по порядку.

Первое, что он сделал, когда мы вошли в просторный вестибюль, — это попросил меня подождать немного. Я сел на стульчик, а он куда-то

---

\* В. Федоров родился в Кемерове, в Новосибирске — учился в техникуме и работал.

по коридору побежал. Именно не пошел, а побежал, как-то легко так, будто и пола не касаясь. Прошло минут пять, вижу: идет он назад и целую охапку покупок несет.

— Сейчас устроим пир на весь мир! Ведь не шутка — земляками мы оказались, — говорил он.

Оказалось, в этом общежитии был буфет, где продавались холодные закуски: пирожки, винегрет, бутерброды, соки, папиросы и другая снедь.

— Сейчас мы с тобой угостимся, а потом поговорим ладком, — балагурил он, вываливая провизию на стол, застланный газетами. Тогда я узнал, что мой новый друг пишет стихи. Мне все это было близко. Я ведь тоже грешил стихами. Но в тот вечер мы своих стихов не читали, а читали Надсона.

— Хороший поэт! — говорил он, — только чересчур нудный. Все жалуется на судьбу. Малость мрачновато...

А когда Блока стали читать, оживился:

— Блок — другое дело... Но и он, понимаешь, тоже тень на плетень наводит. Туманно все у него. Красивости любит!..

Вот, думаю, дает! Надсона я вообще до этого не читал, и в Васином чтении он казался мне прекрасным. И вот тебе на! — Вася вроде бы критику наводит на известного поэта. Но еще больше я удивился тому, что он осуждал самого Маяковского за слова, сказанные им: «Между нами подзатесался Надсон, но мы его куда-нибудь на ща...»

Стихи А. Блока я читал, они звучали красиво; у нас в школе девочки многие его стихи в свои альбомы переписывали. Я тоже, грешник, кое-что в свою тетрадь переписал.

В комнате стояли три железные кровати, и у каждой кровати — тумбочка. Васина кровать была угловая. В изголовье ее на стене — полочка с книгами. Названия некоторых книг помню до сих пор. Это стихи А. Блока и С. Надсона, однотомник Шиллера (уезжая в 1941 году из Иркутска в Ново-

сибирск, Василий Федоров томик Надсона и том Шиллера подарил мне на память; уходя в 1942 году в армию, я Шиллера подарил Николаю Бердникову, а С. Надсон прошел со мной всю войну). Была на полочке еще одна книга: Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг», и когда я взял ее в руки, Василий восторженно проговорил: «Понимаешь, Денис, любопытные вопросы здесь Энгельс затрагивает. Весьма любопытные. Не читал? Почитай! Я тебе дам почитать».

Стоял на полке и однотомник Лермонтова с иллюстрациями Зичи. Лермонтова я очень любил, читал почти все. Но такое издание видел впервые. Очень уж оно было красивое! Хорошо сохранившийся переплет с золотым тиснением, много в тексте всяких заставок, виньеток.

А от иллюстраций я вообще не мог оторваться. Фамилия Зичи мне тогда ничего не говорила. О нем подробнее я узнал много позже, уже после войны. Были еще какие-то книжки, по-моему, стихи Багрицкого, «Мартин Иден» Джека Лондона... О Джеке Лондоне он тогда сказал примерно так: «Вот это писатель! У него в книгах — жизнь. Суровая жизнь! Ему веришь. И «Мартин Иден» — великолепен. Жаль — конец не тот. Тут как-то по-другому надо бы!..»

Так мы, за разговорами, просидели до глубокой ночи.

Я жил очень далеко, за железнодорожной линией, и Вася не пустил меня домой.

— Вот две кровати пустуют, ложись и спи. Их хозяева, вообще-то, ночуют здесь редко...

Я остался.

Девятнадцатую комнату я посещал очень часто. Часто и ночевал тут, то на свободной койке, а когда свободной не было, ухитрялись с Васей поместиться на его койке. Был я одинок, братова квартира, где я, по сути, был только прописан, располагалась очень далеко...

Были мы холостяками. Мне тогда не было еще



и семнадцать лет, а Васе шел двадцать первый. И поэтому (чего греха таить!) я частенько оставался без денег. Зарплата у меня была весьма скудная. Вася же как мастер получал значительно больше. Поэтому я частенько забегал к нему, знал: у него всегда можно что-нибудь перекусить на скорую руку. Уж чего-чего, а хлеб, сайки или сушки у него всегда были и лежали на столе, прикрытые бумагой или газетой. К тому же у него никогда не переводился томатный или виноградный сок. Томатный сок, который мы очень любили и всегда пили его вместо воды, а чаще — с хлебом, всегда стоял на его столе. В то время он продавался в магазинах в больших металлических банках. Было в такой банке килограммов шесть-восемь. Бывало, принесет он такую банку домой, поставит ее на стол, возьмет кухонный нож, или отвертку, или ножницы, вернее, что окажется под рукой, и — р-раз! — с размаху по верхней крышке, у самой кромки. В образовавшееся отверстие сразу же тек вкусный душистый сок. Чтобы «не пропадало добро», он брал эту банку обеими руками и, как жбан, подносил ее ко рту. Напившись, он передавал банку мне или кому-то из нас, кто находился в это время в комнате.

— Лакайте, дармоеды! — смеялся он, — и будете такими же, как вот эти помидоры на картинке...

В одну из таких «церемоний» он сказал, что это «питие через край», а не из кружки напоминает ему о многом: о доме, о детстве.

— Когда мы жили в Марьевке, — вспоминал он однажды, — то у нас дома всегда квас был. Его мама делала... Верно, зимой квас не делали, а как наступало лето, он не переводился до самых холодов. О, если б вы знали, какой вкусный квас делала мама!

Как нежно, как тепло он произносил это слово: «Мама!» Я ни разу не слышал от него, чтоб он сказал «мать» или еще как.

Мне в такие минуты вспоминалась моя мама. Она тоже мастерицей была по этой части.

— Знали б вы, какой он вкусный бывает, когда его пьешь прямо из лагушка! — говорил он. — Мама в этот квас добавляла чего-то, уж не припомню чего, не то дикого хмеля, не то травки какой-то, чтоб он ядреней и пахучей был. Да и сам лагушок лесом и солнцем пах! А воду на квас из родничка брали, что под Назаркиной горой тек, это в кустах, у Кайдора.

Рассказывал он красочно, душевно, и видно было, что очень дороги ему эти воспоминания.

Вскоре мы с Васей записались в драматический кружок при ДК, играли в спектаклях.

### ДРАМКРУЖОК

Василий Федоров имел броскую внешность: высокий, стройный, подтянутый, в общем — красивый. Верно он шутил по поводу своей нижней губы: мол, губа на троих росла, да одному досталась. Вообще-то, губа действительно немножко была великовата — она все как-то выпячена была, и те, кто не знал Васиного мягкого характера, могли подумать, что он чванлив. Но она нисколько не портила его лица. Наоборот, будь у него другие губы, и он бы не походил сам на себя. Голос сильный, дикция чистая. Вот почему режиссер Михаил Федорович Киселев был очень рад его приходу в драмкружок.

— Теперь можно ставить хоть «Гамлета», или «Отелло»! — признался он. — Федоров потянет. Все у него есть: и сила, и достоинство, и статья!

Но ни «Отелло», ни «Гамлета» драмкружок так и не поставил. Но зато и я, и Вася играли в других пьесах. «Честь» Г. Мдивани, «Любовь Яровая» К. Тренева. О «Честь» я скажу вкратце, так как у меня в этой пьесе роль была небольшая, эпизодическая, и я на репетициях бывал нерегу-

лярно. А вот на пьесе К. Тренева «Любовь Яровая» остановлюсь подробнее.

У нас в Доме культуры была большая высокая комната. На стенах — картины. И не какие-то там копии, а подлинники. На одной из стен — огромное полотно «Партизаны» известного советского художника Г. Н. Горелова. На другой стене — картина В. П. Ефанова (названия не помню). На полу — огромный ковер. В углу комнаты — режиссерский столик, на котором всегда стоял графин с водой, а у стен — стулья и мягкие кресла.

И вот первая читка. Читает сам режиссер. Мы сидим вокруг стола — нас человек двадцать. Пьеса всех заинтересовала. Еще бы! Тема-то какая! Когда читка закончилась, а закончилась она где-то около часа ночи, режиссер сказал: «У меня тут есть кое-какие наметки насчет ролей, но об этом поговорим завтра. А сейчас подумайте, кто какую роль хотел бы сыграть».

На следующий день роли были распределены. И вышло любопытно: большинство кружковцев получили именно те роли, которые они хотели бы сыграть. А вот нам с Васей не повезло. Мне хотелось сыграть какую-нибудь положительную роль, а дали отрицательную — попка Чира, который и появляется-то на сцене раза два-три, да и то без слов.

Вася же хотел сыграть матроса Швандю, но режиссер был на этот счет другого мнения. Роль Шванди была поручена Василию Михайловичу Бондарчуку (двоюродному брату Сергея Бондарчука), которую он и сыграл блестяще. А Василию Федорову досталась роль профессора Горностаева. Есть в пьесе у профессора такие слова: «Пустите Дуньку в Европу!..» Так если б вы знали, как произносил эти слова Василий Федоров! Высокий, седой, в широкополой шляпе, в очках, с тростью в руке, он, негодуя, кричит вслед убегающим буржуям:

— Пустите Дуньку в Европу!..

Спектакль готовили долго. Всем хотелось поставить его как следует. Ежедневно мы репетировали до полуночи — никому не хотелось расходиться по домам. Но надо было расходиться: ведь утром на завод, на работу. Как уже отмечал, ночевал то в редакции многотиражки, куда я по совету Васи перебрался работать, то у него в общежитии. После одиннадцати вечера посторонним запрещалось оставаться в общежитии, но на дежурстве стоял свой человек — тетя Мотя, и она смотрела на это «нарушение внутреннего распорядка» сквозь пальцы.

Но и придя в общежитие, мы обычно на сон грядущий прочитывали свои роли. И не просто прочитывали, а представляли, исполняли их. Один раз Вася так вошел в свою роль, так разошелся, что тетя Мотя, как она потом сама рассказывала нам, подошла к двери, стала слушать и не могла понять, с кем это разговаривает Федоров. Такой хороший, вроде бы, жилец, а вот, поди ж ты, шумит, чуть не матерится! А когда он произнес: — Пустите Дуньку в Европу! — чуть было не открыла дверь, чтоб расправиться с этой самой Дунькой, которая неизвестно как оказалась в комнате № 19.

Слушая это, мы от души хохотали. Особенно Вася. А чтоб тетя Мотя была еще любезней, он выпросил у режиссера контрамарку, и в день премьеры спектакля мы с ним торжественно вручили ее нашей вахтерше.

#### «ВАЯТЕЛЬ»

Однажды я застал Васю за странным занятием: на койке лежал его друг, который жил вместе с ним. Лежал он на спине, накрытый простыней. Руки у него были строго «по швам» и привязаны к койке брючным ремнем. Голова парня была как бы вделана в ящик без верхней крышки и с вырезом для шеи. Я вначале даже испугался: что

это с Тимкой? Умер, что ли? Иль заболел? Он был бледный, как покойник; лицо лоснилось — оно было чем-то жирным смазано.

Я присмотрелся: нет, парень жив, моргает и курит, повнимательнее пригляделся — понял, что изо рта не папироса торчала, а камышинка длиной с папиросину. На столе стояло ведро с водой, кулечек с белым порошком и тазик.

— А вот и ассистент пожаловал! — встретил меня Вася. — Давай-ка, снимай пиджак, помогать будешь.

Я понял, что он задумал... Вася работал на заводе старшим мастером уже в гипсомодельной мастерской. (Замечу, кстати, — он неплохо рисовал. Рисовал обычно карандашом в своем блокноте, на клочках бумаги, газетных полях. Это были беглые, смешные зарисовки.)

Как-то он подал мне раскрытую книгу, где была помещена статья об известном скульпторе С. Меркурове.

— Смотри, Денис! Это же так просто — сделать маску! Мы смазываем тебя растительным или сливочным маслом, помещаем голову вот в такой ящичек, суем в зубы макаронину — все в порядке: заливай гипсом. Давай попробуем? А? Да не бойся!..

Но я не согласился. Эта затея меня не воодушевила.

Через несколько дней он предложил мне пойти на Ангару, отдохнуть. Перейдя по висячему мостику на остров, мы углубились в заросли камыша. Камыш был высокий, крепкий. Я не понимал толком, зачем он меня сюда приволок? А Вася срежет ножом камышинку, посмотрит, повертит ее в руках, подует в нее и бросит. А ту, что облюбует, мне отдает. Вскоре у меня в руках оказалась уже целая охапка камыша, но без «седой бороды», которую он сразу же обрезал. Испугавшись в протоке, мы быстренько оделись и засветло пришли домой.

Теперь мне было понятно, что задумал новоиспеченный «ваятель». Я не согласился быть подопытным кроликом, так он уговорил своего друга Тимку Репина, однокашника по авиатехникуму. Сделал он это хитро. Чтобы доказать Репину, что это очень просто делается, Вася решил для начала сделать слепок с Тимкиной руки. Сказано — сделано. Придя с работы, они стали «шаманить». Вася побрил Тимкину руку, смазал ее жиром, положил на стол и заляпал гипсом почти по локоть. Так, не шевелясь, Тимка просидел около часа. Вася ухаживал за ним, как за больным ребенком: давал попить соку, совал ему в рот папиросу, потом подносил к папиросе спичку. Пот градом катился с Тимкиного лица, но «скульптор» не давал ему пошевелить даже свободной рукой. Вася заботливо вытирал пот носовым платком и уговаривал потерпеть еще десяток минут. Короче, форма была отлита, тут же был отлит и слепок с Тимкиной руки.

— Получилось! Получилось! — Тряс Вася меня при встрече. — А вот ты сдрейфил. Таких слепков в мире пока что только два. Запомни это! Один слепок сделан с руки Великого Паганини, — он где-то в музее лежит, — а другой, вот он, перед тобой!.. Каково? А? Теперь можно и за маску взяться!

И вот, оказывается, настал черед снять маску с Тимкиного лица. Тот был уже подготовлен, как больной перед операцией: лежал и ждал своей участи... Он даже ухитрился улыбнуться мне, когда Федоров сказал:

— А вот и ассистент пожаловал!..

Маэстро был уверен в успехе дела. Тому доказательством — и те отливки, что делались на заводе, и слепок с живой руки. Но все же сомнения были. И вот какие. Ну, побрить бороду, усы — побрили, а как же ресницы, брови, наконец, волосы? Не дай бог, зальешь их гипсом, а смазка не подействует, и тогда зубами их не отдерешь!

А второе: не задохнется ли натура, дыша через обычную камышинку?

Чтобы застраховать себя от неудачи, Вася на брови, волосы накинул основательно пропитанные подсолнечным маслом кусочки марли. А ресницы проработал кисточкой: почти каждую ресничку пришлось смазать маслом. И вот со словами: — Ни пуха, ни пера! — он зачерпнул пятерней только что разведенный гипс и стал им обкладывать Тимкино лицо. Ящичек был уже заполнен раствором, оставалось только положить гипс на губы, где торчала камышинка. Но вот сделан последний «мазок», и Вася наклонился к этой камышинке.

— Дышит,— прошептал он.— Все в порядке.

Он достал папироску, прикурил, аппетитно затянулся и потер руки.

— Смелость города берет, Денис! А ты боялся!

Тимка лежал, терпел. А что оставалось ему делать? Руки привязаны к кровати, он даже сжимал правый кулак, как бы грозя скульптору. А Вася то и дело наклонялся к камышинке и, обернувшись ко мне, шептал:

— Дышит! Значит, жив курилка!..— и широко улыбался.

Маску, к нашему общему удивлению, сняли легко. Но подопытный все-таки ругался, хотя как-то не зло, а добродушно, шуточно, вроде как извиняясь. Успех дела был закреплен холостяцким ужином.

— Теперь, Денис, дело за тобой. Вон у тебя какой профиль! Один нос чего стоит! Надо бы его увековечить! А?

Теперь я искренне сожалею, что не поддался когда-то Васиным уговорам.

## РАБКОР

Итак, я уже работал в многотиражке, куда меня сагитировали Иван Кузнецов и Вася. По долгу службы мне приходилось бывать во всех цехах завода. У нас, инструкторов, — так тогда называлась наша должность — основная работа состояла в организации нужного материала для газеты. Писем от рабкоров было много — и критических и иных, а вот так называемых проблемных статей самотеком не поступало. Такие заметки надо было заказывать своему активу.

Когда я бывал в цехах, я непременно забегал в Васину группу, уговаривал его написать о людях своей группы или цеха. Но он постоянно отказывался. Наконец сдался и написал свою первую зарисовку: воспоминание о том, как он учился в новосибирском аэроклубе. Подписал он статью псевдонимом В. Лёхин. Когда мы его спросили, что это еще за Лёхин, он ответил, что это его деревенское прозвище: «Нас в Марьевке все называли так».

К этому времени в многотиражке у меня были напечатаны два-три стихотворения. Теперь я понимаю, это были слабые, ходульные стихи, но тогда я очень радовался их появлению в газете. Не меньше меня радовался этому и Вася.

Я знал, что он тоже пишет стихи, многие из них он мне читал, но когда речь заходила о их публикации, отказывался что-либо дать.

Причина этой «болезни» заключалась в том, что он в какой-то мере действительно боялся давать стихи в редакцию. И вот почему: еще будучи студентом техникума, он рискнул свои стихи послать в газету «Большевицкая смена». Стихи не напечатали, а ответили разгромной статьей.

В 1939 году в нашей многотиражке его стихи все же появились, а несколько раньше одно стихотворение было опубликовано в областной молодежной газете «Советская молодежь». А было



это так. При редакции газеты «Советская молодежь» работал литературный кружок, которым руководил поэт Иннокентий Луговской. Я в этот кружок частенько забегал. Всех кружковцев я не знал, а вот некоторых помню. Почти всегда, когда мне приходилось бывать на литзаседании, я встречал Александра Гайдая, Моисея Рыбакова, Евгения Яшкина. Иногда заходил Иван Черепанов. Их стихи уже появлялись на страницах газет. У меня же не было достойных собственных стихов, и я решил испытать счастье, не свое, а Федорова.

В одно из посещений его гостеприимной комнаты № 19 я тайком списал полюбившееся мне стихотворение «К матери» и отнес его Луговскому.

Вася о моем «коварстве» узнал лишь тогда, когда на работе его стали поздравлять сослуживцы. Он долго ломал голову над тем, как это его стихотворение попало в газету. Пришлось мне покаяться, а он, смирив гнев на милость, попросил больше так не делать.

Он стал чаще бывать у нас в редакции и публиковать стихи.

Принял он участие и в литературном конкурсе на лучший рассказ, очерк, стихи, поделив одно из призовых мест с рабочим Алексеем Куделькиным.

Вплоть до самой войны Василий Федоров был частым гостем нашей газеты. Мысль об отъезде из Иркутска в Новосибирск, где жили его родные, не покидала его. Как ни жалко было расставаться с друзьями, но пришлось.

За несколько дней до отъезда, 13 апреля 1941 года, Василий Федоров, Василий Стародумов и я встретились и сфотографировались на прощание (см. фото на стр. 17).

Вот оно передо мной, остановившееся мгновение. Слева на фото — Василий Пантелеймонович Стародумов, который к тому времени уже много публиковался. Самое первое его стихотво-

рение было напечатано еще в 1926 году в новосибирской газете «Сибирский гудок» вместе со стихотворением Сергея Есенина «Песня о пастушонке Пете...». Здесь же был некролог, подписанный Вадимом Шершеневичем. Василий Пантелеймонович в то время был руководителем нашего литкружка, участвовал в работе первой краевой конференции писателей Восточной Сибири, состоявшейся в Иркутске в 1935 году, он дружил с такими писателями, как Константин Седых, Гавриил Когуров, Исаак Гольдберг, Иван Иванович Молчанов-Сибирский, Иннокентий Луговской, Александр Балин, Павел Маляревский, Анатолий Ольхон.

Если еще учесть, что Стародумов на целый десяток лет был старше и опытней нас, то можно понять, как мы с Васей смотрели на него. Так вот, слева на фото Василий Стародумов сидит и с любопытством смотрит на сидящего против него Василия Федорова. А Василий Федоров — справа. Он в новом в полоску костюме, весь какой-то нахохлившийся, с выпяченным подбородком. В общем, задумавшийся в предчувствии расставания. А в центре снимка я, тоже еще молодой, двадцатилетний, якобы читающий им газету.

Сейчас, почти через полвека, когда Василия Дмитриевича Федорова уже нет среди нас, я смотрю на дорогую мне фотографию и вспоминаю Васю таким, каким он был в юности: красивым, сильным, молодым!..

Еще раз перечитав написанное, я задумался: вправе ли я называть такого большого поэта как Василий Федоров, просто Васей. Прошу у всех прощения, но иначе я поступить не мог. Во-первых, потому, что это строки о нашей молодости, когда Федоров не был еще тем Федоровым, каким он стал годы спустя. Во-вторых, когда он уже стал известным поэтом и был у меня в Иркутске в гостях, то я при встрече назвал его по имени-отчеству. Он похлопал меня по плечу и сказал



*В. Д. Федоров. 30-е гг. Новосибирск. Возле авиатехникума.*

свое излюбленное: «Денис, Денис! Идешь ты против бога! Какой я тебе Василий Дмитриевич?! Я был, есть и всегда буду для тебя Васей».

В этих записках я не ставил перед собой цель нарисовать портрет молодого Федорова. Нет, я просто вспомнил то, что запомнилось. Добавлю еще: Василий Федоров в те годы был активнейшим комсомольцем, членом бюро Ленинского РК ВЛКСМ Иркутска. Агитатором, зачинателем многих комсомольских дел. Он хорошо ходил на лыжах, любил музыку, танцы, веселые кинофильмы.

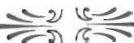
Но больше всего Вася любил читать. Он знал на память множество стихов наших классиков, восхищался Чайльд Гарольдом Байрона и сам писал очень много. Не проходило и дня, чтобы он не читал мне что-нибудь новенькое. Писал он много, легко, на одном дыхании, на случайных листках бумаги, коробках папирос, на полях газет. Даже стена в общежитии, где стояла его железная кровать, была испещрена рифмами.

Я журил его за это, мне казалось, что он слишком небрежно относился к своим стихам. Зачастую я переписывал с каких-то бумажек разрозненные строчки на чистый лист бумаги и отдавал ему. Я уверен, что большинство из написанного им в ту пору в Иркутске — исчезло.

Среди стихов, датированных этими годами, в сборниках я встретил только два знакомых мне стихотворения. Это «За дружбу, за любовь, за боль последней встречи...» и «Прощай, село, я — сын твоих полей...»

Может быть, став известным поэтом, он не включал в свои книги многое из того, что было написано. Может быть. Но мне кажется, причина не в этом: он их просто не сберег. Очень жаль!

Февраль 1985, Иркутск



*Лариса Федорова*

**НАЗАРКИНА ГОРА**



*60-летие В. Д. Федорова. Февраль 1978 г.*

Нет, это название не сразу появилось в нашей совместной жизни. Сначала — то есть с 1947 года, когда я встретила Василия Федорова в Литературном институте имени Горького и даже оказалась с ним на одной парте, — сначала я слышала от него слово «Марьевка»... Я спросила, откуда он у нас тут появился (то есть сразу на второй курс), и он ответил: «Я — из Марьевки». Я засмеялась, не поверив. Он улыбнулся тоже. «Ну, не

сразу из Марьевки... Но мой путь в литературу именно оттуда. Первые мои стихи я слагал на марьевских лугах, возле речки Яя». Потом он спросил: «А вы где написали свои первые стихи?»

— Я написала их в сорок пятом, в марте, в Венгрии.

Да, это было так. Была там в командировке как стенографистка при пятой воздушной армии 2-го Украинского фронта. Три месяца. А стенографировала я рассказы летчиков о их воздушных боях над Будапештом.

— Здорово! — позавидовал поэт. — А я в Новосибирске собрался на фронт, попрощался с родными, но из военкомата меня вернули.

Наш курс был первым послевоенным. За партами сидели лейтенант Ольга Кожухова, лейтенант Константин Левин, партизан Максим Держора, армеец Георгий Друцкой, Игорь Кобзев — из железнодорожных войск.

Если не считать Расула Гамзатова, то Василий Федоров был единственным на курсе, имеющим свою книгу. Но об этом я узнала позднее — тогда, когда началась наша любовь. Василий был более чем скромн. У нас на курсе все наперебой читали друг перед другом свои стихи, но он не читал. Он слушал других и улыбался. Хоть и приехал по направлению Новосибирского отделения писателей, но долго еще оставался марьевским — застенчивым и... гордым. Другие студенты, получая от месткома ордера на промтовары, умудрялись как-то обменивать их на продукты на ближайшем к институту Палашевском рынке, но Василий Федоров делать этого не умел. Он и ордеров-то не просил ни разу. О том, что он бедствует, я услышала случайно. Наша преподавательница марксизма-ленинизма Слава Владимировна Ширинина обеспокоенно говорила кому-то из своих коллег: «Надо как-то помочь парню, он совершенно непрактичен. У него «Лирическая трилогия» в Новосибирске вышла. Прелесть что за книжка».

Но тоненькая, и деньги, конечно, все давно истрачены. Попробую договориться с одним из журналов насчет консультации».

Что такое «консультация», я знала. В журналы приходило множество стихов, на них требовалось давать обстоятельный ответ. Если стихи хорошие — предложить их редакции; плохие — убедить автора, почему они плохие.

Но не скоро Василий Федоров занялся такой неблагодарной работой. Он берег себя для новых стихов, которые полагалось читать на поэтических семинарах. Мы записались с ним в один и тот же семинар — к Павлу Григорьевичу Антокольскому.

Жил Василий, как все приезжие студенты, в общежитском подвале, который сами поэты за окраску стен прозвали «голубым».

Некоторым студентам нашего курса, таким как Максим Толмачев (ныне лектор общества «Знание»), родные, жившие в деревнях, присылали то сала, то меду...

— А что же тебе, Вася, твоя Марьевка ничего не присылает? — спрашивали иногда «соподвальники» поэта. — Пишешь поэму «Марьевская летопись», а сало где?

И опять он или отшучивался, или вздыхал. Не о сале, конечно, о самой Марьевке. Сала он по болезни желудка никогда не ел.

Поэму о Марьевке, действительно, писал. Как стенографистка, я имела дома машинку, и однажды он попросил меня ее перепечатать.

После тонкой изящной «Лирической трилогии» она показалась мне не то чтобы грубоватой, а как бы не в его ключе, не федоровской... В «Лирической трилогии» речь шла о музыке, о высокой любви, о заводе, преподнесенном очень поэтично... «Марьевская летопись» — о тяжелом труде солдаток и вдов, о запряженных в плуг коровах...

*Она и запряженная  
Все пахнет молоком...*

Студенты тоже отнеслись к поэме прохладно, а Павел Григорьевич не скрыл своего разочарования. Но когда поэт написал «Скульптора» и «Незнакомку Крамского» — о нем заговорили громко. Владимир Солоухин, учившийся курсом младше, читал «Скульптора» особенно упоенно:

*Он так говорил:*

*— Что хочу — облюбую,  
А что не хочу — недостойно погони,  
Казалось, не глину он мнет голубую,  
А душу живую берет он в лагони.*

Стихи стихами, а «Марьевскую летопись» он упорно продолжал дописывать. Пусть она не по душе руководителю семинара, пусть в ней еще не разобрались его друзья-товарищи, такие, как — от земли — Михаил Годенко, как такой же крестьянской закваски прозаик Семен Шуртаков, Владимир Солоухин, — поэму о Марьевке он должен сделать!

А мне говорил: «Понимаешь, я ее обещал самой Марьевке. Был как-то на лугах и поклялся перед рекою. А если дал клятву на Марьевской земле, как же я могу ее не выполнить?!»

В сорок девятом году мы поженились, и он перебрался из «голубого подвала» ко мне в переулок Садовских в семиметровую комнатку при коммунальной квартире... Два поэта на семи метрах? Я поняла сразу, что моя участь как поэтессы решена... Писать стихи будет он, а я перейду на прозу. Тем более, что Константин Георгиевич Паустовский согласился включить меня в свой семинар. Я даже как бы в выигрыше оказалась: побыть в семинаре такого тонкого мастера, как Паустовский, уже счастье. А поэзия? Что же, разве она не рядом со мною? Я стала свидетелем



рождения каждой новой строчки стихов Василия Федорова. И это продолжалось всю мою жизнь, а точнее тридцать семь лет...

Муж тянул меня в Марьевку, но денег на поездку туда еще не было. Зато нам дали творческую командировку на Алтай. Это уже на четвертом курсе. Конечно, сначала мы заехали в Новосибирск, где я познакомилась со своей свекровью Ульяной Наумовной, с сестрами и братьями мужа. Они покорили меня своим радушием, а Новосибирск — красотой, рекою, мостом через нее. Показав все красоты и достопримечательности города, он привел меня в редакцию журнала «Сибирские огни», где уже была напечатана его «Марьевская летопись», познакомил с главным редактором журнала Саввой Елизаровичем Кожевниковым. Тот намекнул ему, что ждет к себе заместителем... Заманчиво. Жить на семи метрах было очень трудно. А тут, конечно, сразу дали бы квартиру. Но я поборола этот соблазн — и в себе и в поэте.

— Я понимаю, что ты сибиряк, но Москва тебе необходима. Вспомни Есенина. Если бы он не приехал в Москву, как и Маяковский и другие поэты, разве бы он стал таким известным? Сейчас у тебя идут хорошие стихи. Вот выйдут книги «Марьевские звезды», потом «Лесные родники»...

— До «Лесных родников» еще далеко. А за «Марьевские звезды» опять же кому спасибо, как не Савве Елизаровичу да Смердову. Меня здесь любят, понимают...

— Наберись терпения, время твое придет.

Да, я в это твердо верила. Верили в него и московские друзья поэты, о которых я говорила выше.

Поездка по Горному Алтаю дала нам обоим хороший творческий заряд. На попутных грузовых машинах мы доехали до Кош-Агача, то есть — до советско-монгольской границы. А это семьсот

километров, если считать от Горно-Алтайска. Автобусы тогда туда не ходили. Но это не показалось нам серьезным препятствием. Чем плохо ехать с разными шоферами, везущими в Монголию товары «Совмонголторга»? А кругом горы, реки шумят, темной стеною кедры высятся. Мы ехали от райцентра до райцентра. Там расплачивались с шофером, спрашивали у местных жителей, где у них Дом культуры, и шли искать заведующего. Потом показывали свои удостоверения студентов Литературного института, командировки и просили вывесить афишу, что сегодня вечером два московских поэта будут читать свои стихи... Нам везло: клуб всегда оказывался полным. Половина выручки нам — на дальнейший проезд и пропитание, другая половина — в пользу клуба. Цены, конечно, самые божеские, чтобы только побольше народу собралось. Чтобы доказать сидящим в зале, что не зря мы ехали по Чуйскому тракту, я читала им совсем свежие стихи об увиденном:

*Дорога скользила то круче, то глаже,  
К бортам боязливо прижалась поклажа,  
Шофер не боится, шоферу знакома  
Крутая дорога у Белого Борма!  
Шофер мне поклялся, что лишь на Алтае  
Бывает у речек вода голубая,  
И, дав с поворота рискованный газ,  
Сказал, что докажет мне это сейчас...  
...Негромко, о чем-то своем напевая,  
Текла по ущелью вода голубая,  
И, слушая песню, стоял молчаливо  
В воде по колено табун белогривый...*

Поэт, желая развеселить публику, говорил:  
— Она сидела в кабине у шофера, потому он ей и клялся. А я даже не сидел в кузове, я стоял у цистерны с бензином... И белогривых коней в

голубой реке я рассмотрел даже лучше, чем из кабины.

— А чего же тогда сам не написал? — реагировал зал.

— Я так скоро не умею. Вот если на будущий год к вам заглянем, может, кое-что и прочитаю...

Скромничал, как всегда. Стихи о горе Белухе, чья вершина горит фосфорическим светом, у него уже были, но он их еще не запомнил и боялся запнуться.

Читать стихи перед залом для него всегда было мучительно. Перед камерами телевидения и совсем нервничал. Но камеры телевидения придут гораздо позднее — лет через двадцать, когда золотистые волосы поэта пробьет седина. А тогда мы беспечно путешествовали на попутных, ночуя в пустых гостиницах, в которых иногда и стекла в рамы еще не были вставлены... Да и время-то было послевоенное, до стекол ли?

Алтай покорял нас все больше. Потом, через годы, мы ездили с поэтом в Крым, на Кавказ, но ни с Крымом, ни с Кавказом не сравнится эта дикая первозданная красота Горного Алтая.

Насчет питания в дороге было туговато. Но зато в одной из чайных, куда подвернул свою машину шофер, мы впервые испробовали сметану сарлыков... Она была такой густоты и жирности, что ложка в стакане колом стояла. Но такая удача была единственный раз. Хорошо, что из Горно-Алтайска мы прихватили головку сыра, флягу с молодым медом и каравай ржаного хлеба. Когда шофер делал перекур — чаще всего возле какой-нибудь речки, чтобы залить воды в радиатор, — мы тоже спускались вниз, отрезали себе и шоферу по ломтю хлеба, по ломтю сыра, поливали все это медом из фляги и запивали чистой холодной водой...

Кош-Агач нас разочаровал. Горы остались позади, а перед нами расстиралась степь без единого деревца... Кош-Агач и обозначало «прощай, де-

рево»... За погранзаставой начиналась Монголия.

Но выступление в районном аймаке, как и было задумано, мы сделали. Народу собралось опять полно. Пришли и пограничники. Пригласили назавтра к себе на заставу, но мы уже договорились с райкомом партии, что поедем в колхоз-миллионер «Мухор Тархата». Пограничники даже обиделись, и мне до сих пор неловко, что мы им отказали. А дело было в том, что поэт устал. Ведь наше путешествие длилось уже неделю. А это большое напряжение — держать внимание зала, потом на другой день ловить попутную машину, договариваться о цене... Головки сыра уже не было, как не было и меда с караваем хлеба. Всего три года как окончилась война! Рынки в районах были, но мы к ним всегда опаздывали, да и какие у нас деньги? Вот почему пребывание в колхозе-миллионере представлялось нам в виде обетованного рая...

В тот вечер после выступления в Кош-Агаче по путаным его переулкам увязалась за нами чья-то белая лошадь... Луна над степью висит огромная, желтая, тишина какая-то голубая, нездешняя, все давно разошлись по домам, и бродим по аймаку только мы двое да за нами белая лошадь...

— Может, это переодетый шпион? — пошутил поэт, — Не позвонить ли нам пограничникам?

Я подошла к «шпиону» и погладила его добрую морду. Она была теплой. А губы — как бархат.

Утром райкомовцы сказали нам, что была в их распоряжении одна лошадка, но куда-то ушла. Наверное, обратно к табунам Мухор-Тархата: так что придется нам идти до строительства маленькой гидростанции пешком. Станцию строит сам колхоз, там нам и лошадей дадут...

Было 14 августа. Но на вершинах гор, окаймляющих Кош-Агачскую степь, лежал снег... А мы с мужем так легкомысленно одеты! Кто-то из райкомовских ссудил меня шалью, теплыми чул-

ками, Васе дали теплый шарф. Он тут же обмотал им голову, потому что подул сильный ветер. А идти километров пять...

— Вот если б ты вчера согласился выступить у пограничников, разве они не дали бы нам машины? — корила я Василия. А еще: нам очень хотелось есть. Утром мы, конечно, позавтракали. Но слегка. Потому что добрая женщина, давшая мне шаль, наказывала: «Теленгиты удивительно гостеприимны и обижаются, если у них не едят. Так что не вздумайте отказаться. Но когда войдете в аул, то скажите: «Якши», вам ответят «якши», а вы на это «якши бай якши» — то есть пусть тебе хорошо и твоему скоту хорошо будет. Они же все скотоводы! Вот тогда вам такой прием устроят, такой прием!»

На гидростанции оказалась только одна лошадь. Да, та самая, белая — вчерашний «шпион»... А ехать до правления колхоза десять километров. «Это совсем рядом, — сказали нам теленгиты-строители». Ничего себе рядом! Да еще вдвоем на одной бедной лошаденке! Я в седле, а мой позт на лошадином крупе, с которого он все время соскальзывал... Удивляюсь, как она его не лягала! Ну наверное потому, что все-таки вчера познакомились, гладили ее, разговаривали с ней... Даже стихи читали! Довезла! Но, когда с нее слезли, громко и облегченно вздохнула.

А теперь представьте наше разочарование. Правление на месте, председатель перед нами, а весь поселок пуст... «Все на пастбище, — объяснил председатель, — это недалеко, можно съездить».

Кому же мы будем говорить тут «якши» и «якши бай якши»?

Дали вторую лошадь, поехали. Есть хотим — умираем. Но кругом степь. Наконец маленькое пастбище. Козы-мериносы. Входим с председателем в юрту, говорим как заклинание «якши» и «якши бай якши» и слышим в ответ «здрав-

ствуйте»... Никто не догадывается, что мы голодны. Приносят только водку из овечьей сыворотки. В эмалированном чайнике. И наливают по эмалированной кружке... Переглянулись мы с мужем и... вышили! Может, думаем, закусить дадут. А у них, оказывается, не закусывают...

Как мы голодны ни были, а нас это развеселило. Села я на своего коня, стегнула его и умчалась куда глаза глядят.

Председатель спрашивает Василия:

— Куда это она?

А тот смеется, «не знаю» — говорит. Потом спрашивает: «Скоро ли будет следующая юрта?» Оказывается, еще через десять километров. Там пасли овец. Множество овец. Мне показалось, что ими степь заполнена до самого горизонта. И все белые овцы. Как и козы.

В той юрте нам повезло. На кошке сидел секретарь райкома партии — в черной косоворотке с белыми пуговицами, стройный человек, похожий чем-то на кавалериста. Лицо у него было очень тонкое, как на старинной фреске. Тонкое и умное. Да и не трудно было догадаться, что мы голодны. Так и уставились на досторхан, где лежали вяленое мясо и овечьи сыры...

— Садитесь, пожалуйста! Я второй день по пастбищам езжу. А вы откуда?

После этой поездки Василий Федоров напечатал в «Крестьянке» очерк о знатных скотоводах Мухор-Тархата, а я написала два рассказа: «Обычай» и «Завистник». Последний о том, как старик, пасущий обычных коз, решил ночью подменить козлят у именитой ангорской козы, купленной за большие деньги в Турции... Старик очень завидовал, что у соседей белые шелковистые козы, с дорогой шерстью, а у них в колхозе самые обычные. Для колхоза старался, не для себя.

Этот рассказ был отмечен К. Г. Паустовским как большая моя удача.

В 1969 году, в двадцатилетие нашей супру-

жеской жизни, мы собирались совершить как бы юбилейную поездку по прежнему маршруту, но Марьевка переборолла!

— Ладно, бог с ним, с Горным Алтаем! — сказал Василий. — Вдруг да разочаруемся в чем-нибудь. Пусть останется в нашей памяти как нечто романтическое и неповторимое... У Марьевки свои прелести... Вспомни, как ты ее увидела в первый раз!

Да. Эту поездку я запомнила до мельчайших подробностей. И сколько бы раз мы ни приезжали потом — в памяти все-таки оставалась та, первая, Марьевка, до странности чем-то схожая с поездкой по Алтаю. Я долго думала — чем схожая? И поняла...

На станцию Яя мы приехали рано-рано утром.

*Поезд замер и бросил ключ свой,  
Я шутливо сказал жене:  
«Мы приехали, Ваше Лиричество,  
Чемоданчик доверьте мне».*

Никто нас не встречал. Мы и телеграммы о своем приезде дяде Василию — брату моей свекрови — не давали. Зачем людей тревожить? Доберемся!

Середина июня. Поэт спешил к некошеным лугам, обещая мне море огоньков и незабудок. О речке Яя с ее пескариными перекатами, с ее чистыми намывными пляжами из «евпаторийского» песка столько было говорено в Москве, что я эту речку несколько раз во сне видела. А от полевой клубники, мнилось мне, красны все косогоры. А бурундуки в березовых колках такие умные, такие доверчивые, что угощение чуть ли не из рук человека берут...

Станция Яя — маленькая, как две капли воды похожа на все другие станции Великого Сибирского пути, если только они не узловые. Поселок того же названия начинался не сразу; чувство-

валось, земли здесь не меряные, на пустыри строители поселка не скупилась... Улица длинная-предлинная. Это та улица, по которой на Марьевку ехать. Но мы шли пешком. Не было еще у поэта влиятельных знакомств в райкоме партии и в райисполкоме, знакомств, дающих право попросить машину... Все это пришло потом, через несколько лет, пришло само собой и очень естественно, когда поставили на Назаркиной горе дом и зачистили на кузбасскую землю каждое лето.

Да, улица, которой мы шли, была предлинной и сплошь из деревянных домов.

*Трехоконная Россия  
Тихо смотрит на меня,—*

писала я потом в одном из своих стихотворений по пути в село Константиново Рязанской области... Тогда мы с Василием Дмитриевичем, уже известным поэтом и даже лауреатом, ездили вместе с другими писателями на открытие памятника Сергею Есенину.

Так вот, вспоминая первое впечатление от райцентра Яя, скажу, что «трехоконная Россия» была везде одинаковой — что на Рязанщине, что в Кузбассе... Облик города с неповторимыми чертами индивидуальности появится потом — где-то в начале семидесятых. Поднимутся каменные многоквартирные дома, Дом культуры, стеклянный куб главпочтамта, ресторан «Волна», и далеко в поле, далеко от города и особенно станции, воздвигнут корпус районной больницы. Поскольку потом приходилось Василию раза два лечиться в больнице, кстати, у прекрасных опытных врачей, то добавлю: узнать бы, кто это придумал изгонять такое необходимое учреждение из города, да еще на болотистое место со ржавой водой... Тут уж во мне заговорил дух бывшей журналистки.

— Сколько же километров до твоей Марьевки? — спросила я в конце улицы.



— Да что-то около двенадцати. А может, и пятнадцать... Устала? Погоди, не нагонит ли нас какая машина. А то и лошадка с телегой. Попро-симся — подвезут, у нас народ добрый.

Раннее утро влажно дышало нам в разгоря-ченные лица свежестью начавшихся полей и бе-резовых рощ. Разноголосе защебетали птицы. Это придало нам бодрости. Воздух такой легкий — не надыхаться! И все-таки с непривычки я устала. Зачем я поехала в этих туфлях на каблуках? И, как назло, ни попутной машины, ни телеги... И туман никак не рассеивается!

За Ольговкой — небольшой деревенькой, стоя-щей как раз на полпути к Марьевке, — когда ми-новали ее великолепную березовую рощу и на-чались кустарники, вдруг зазвенели колокольчики. Из тумана зазвенели — так таинственно, так неж-но... Мы разом остановились, поставив чемодан на обочине дороги.

— Разуйся, — сказал мне муж. — Говорят, по росе ходить полезно. Дорога тут полевая, хоро-шая, лесных корней нет, она тебе больно не сде-лает.

Из тумана послышалось что-то таинствен-ное — не то шевеление больших тел, не то вздохи. Опять подал голос колокольчик. Мы стали вгля-дываться в левую сторону дороги и... поверх ту-мана увидели конские головы. Они как бы ныряли в молочную непроглядность тумана и вновь вы-ныривали... Ни туловища, ни ног — только лоша-диные шеи и головы.

— Прекрасно! — воскликнул Вася. — Ну где ты это можешь еще увидеть?! Сказка!

В Марьевку мы пришли часов в восемь. Со стороны дороги ее надежно прикрывали белые рощи, правда, не по всей длине улиц. Но тогда за огородами и за большой дорогой, по которой можно ехать на Томск, сразу начинались поля. На холме перед въездом в деревню в густом осин-нике кладбище.



*В. Д. Федоров среди родных. 1937 г. Во втором ряду слева направо: брат Иван, мать Ульяна Наумовна, Василий Федоров, за ним стоят сестры Татьяна и Зинаида.*

— Где похоронен твой отец? — спросила я. — Может, зайдём поклонимся?

— Он в Анжерке. От тифа в Анжерской больнице умер.

Улица была пустынная, только что прогнали на малые лужки коров, и над дорогой ещё не улеглась пыль. Марьевка стояла на высокой гряде. В сторону реки только огороды. Жаль. Я представляла иначе — ведь это так красиво, если окна смотрят в дали и на речку. Улица достаточно широка и даже с зелеными лужайками.

— Где же дом твоего дяди?

— Это на задах, возле конного двора. Но мы сначала к озеру спустимся, я искупаюсь.

— Как — сразу, с чемоданами?

— Это мой ритуал. Я должен как бы очиститься от всей скверны, что накопил в себе за время моего отсутствия.

Озеро, естественно, под горою. Тут же сразу и луга начинаются. А та гора, что над озером возвышается, называлась Назаркиной... Могла ли я предвидеть, что почти через двадцать лет мы поставим на горе дом и пятнадцать лет — из года в год, ни единойжды не пропустив срока, будем приезжать сюда как хозяева Назаркиной горы?

В рамке цветущих боярышника и шиповника озеро выглядело неплохо. Желтые и белые кувшинки качнулись на зеркале воды, когда поэт медленно стал входить в озеро, идя на глубину, пока оно не сомкнулось над его золотистым чубом...

Из рассказов мужа я знала, что после смерти отца семье приходилось туго. Помогали старшие братья, жившие один в Томске, другой в Красноярске — Андрей и Петр, оба на больших партийных постах. Помогала старшая сестра Татьяна Дмитриевна — политотдельский работник в Анжерке. Это к ней с каким-то поручением от матери поехал однажды будущий поэт на федоровской Рыжухе, попал в пургу и не замерз только потому, что лошадь вывезла сани в деревню Судженку и остановилась, заржав, у чьих-то ворот...

Знала, что десятилетним он пас овец на лугу, пас до глубокой осени, когда уже начинали лететь белые мухи, и он коченел в своей легкой одежке... С той поры у него всегда, даже в тепле, мерзли ноги и руки.

Когда минуло ему пятнадцать, его, комсомольца, поставили помощником бригадира к Антону Максимовичу — человеку в Марьевке почтенному. И когда осенью подъехала к федоровским воротам телега, высоко нагруженная мешками с заработанной пшеницей, Ульяна Наумовна не сдержала радостных слез... Это был первый заработок сына в колхозе. Стихи он тогда уже писал. Но — тайно. И умудрялся прятать их от матери (вдруг подумает, что не делом занимается!) — в закрома с золотой пшеницей... Он почему-



*Пятнадцатилетний В. Федоров, работавший в это время помощником бригадира в колхозе. 1933 г.*

то и позднее, когда жил в Новосибирске у сестры, обучаясь в авиационном техникуме, стыдился перед матерью и сестрою своего призвания. В новосибирской квартире в ванной комнате — как ванная она бездействовала — стояла бочка из-под квашеной капусты. Капусту квасили в другой, а в эту поэт, слагавший стихи по ночам на кухне, — в эту бочку он их складывал... «До лучших времен», — объяснил он сестре.

Сидя на берегу среди желтых одуванчиков, я с завистью смотрела, как переплыл Вася на другую, луговую, сторону озера, ходил там по ковру незабудок. Сорвав несколько цветочков, переплыл обратно и вручил их мне. А не купалась я потому, что дно озера показалось мне вязким, да и кувшинок у берега много росло — сразу не поплывешь, за ноги цепляться станут. Я выросла на озере, где купанье было отличным. Но до моего родного села надо было бы ехать более суток обратно на запад — до Тюмени. И там еще семьдесят километров в сторону...

— Ну, как тебе Марьевка? — спросил Василий, одеваясь.

— Мое село, конечно, лучше. Фабричное село. И фабрика писчебумажная, что уже говорит о культуре.

— Культуру в родное село самим привносить надо, не надеясь на писчебумажные фабрики! — отпарировал он. — Как же ты не оценила место расположения Марьевки? Я же об этом стихи написал — о переселенцах из России.

*Дед взошел на Марьевские кручи,  
Он сказал: «Судьба!» —  
Да так и стало.*

Когда шли к дяде Василию, навстречу нам попадались многие марьевцы и муж мой всех узнавал, здоровался и представлял меня.

— Вот и славно, что привез, а без жены на родину ездить не дело. Пусть привыкает,— большей частью говорили женщины.

Еще они спрашивали, где теперь живет Вася, и, узнав, что в Москве, удивлялись. «А работаешь-то кем?» Но этот вопрос оставался без ответа. Муж отшучивался.

К дяде Василию, в дом, перед которым стоял высоченный тополь, мы попали к утреннему чаепитию. Вернее, это была изба, с перегородкой для кухни. Зато просторные сени, где на столе курлыкал самовар.

Нам обрадовались. Младшее поколение этого домика — а детей у дяди Василия пятеро — давно отпочковалось. Один сын жил в Анжерке, другой был машинистом на станции Тайга. Дочери тоже недалеко, но все семейные, детные — когда им по гостям ездить?

Жена дяди — чернявенькая собою Анна Петровна, мордовка по национальности, — во время чаепития все навевалась в кладовку к бочке с медом. Вазочка под мед оказалась маленькой, и дядя Василий, видя, как нравится племяннику мед, все посылал жену с вазочкой в кладовку. «Подкладывай, Анна Петровна, у нас мед свой, не купленный».

Роста дядя был могучего, спиною прям, голубоглаз, ликом румян, как и положено пасечнику. И лысина у него как у какого-нибудь академика. Это я потому так сравнила, что Василий Наумович отличался велеречивостью, в скороговорки не пускался, а племянника все навеличивал: «Да понимаете, Василий Дмитриевич...» И расспрашивал о жизни в Москве. И сам о себе рассказывал, как однажды, в Томске оказавшись, в оперу сходил. Так вот: ходим ли мы в Москве «на оперы»?

— Да некогда нам, дядя! Учились. Диплом защищали. А теперь книжки писать надо.

— Выходит, трудное это дело?

— Не легкое. Я вот когда хлеб сеял да убирал

то и позднее, когда жил в Новосибирске у сестры, обучаясь в авиационном техникуме, стыдился перед матерью и сестрою своего призвания. В новосибирской квартире в ванной комнате — как ванная она бездействовала — стояла бочка из-под квашеной капусты. Капусту квасили в другой, а в эту поэт, слагавший стихи по ночам на кухне, — в эту бочку он их складывал... «До лучших времен», — объяснил он сестре.

Сидя на берегу среди желтых одуванчиков, я с завистью смотрела, как переплыл Вася на другую, луговую, сторону озера, ходил там по ковру незабудок. Сорвав несколько цветочков, переплыл обратно и вручил их мне. А не купалась я потому, что дно озера показалось мне вязким, да и кувшинок у берега много росло — сразу не поплывешь, за ноги цепляться станут. Я выросла на озере, где купанье было отличным. Но до моего родного села надо было бы ехать более суток обратно на запад — до Тюмени. И там еще семьдесят километров в сторону...

— Ну, как тебе Марьевка? — спросил Василий, одеваясь.

— Мое село, конечно, лучше. Фабричное село. И фабрика писчебумажная, что уже говорит о культуре.

— Культуру в родное село самим привносить надо, не надеясь на писчебумажные фабрики! — отпарировал он. — Как же ты не оценила место расположения Марьевки? Я же об этом стихи написал — о переселенцах из России.

*Дед взошел на Марьевские кручи,  
Он сказал: «Судьба!» —  
Да так и стало.*

Когда шли к дяде Василию, навстречу нам попадались многие марьевцы и муж мой всех узнавал, здоровался и представлял меня.

— Вот и славно, что привез, а без жены на родину ездить не дело. Пусть привыкает,— большей частью говорили женщины.

Еще они спрашивали, где теперь живет Вася, и, узнав, что в Москве, удивлялись. «А работаешь-то кем?» Но этот вопрос оставался без ответа. Муж отшучивался.

К дяде Василию, в дом, перед которым стоял высоченный тополь, мы попали к утреннему чаепитию. Вернее, это была изба, с перегородкой для кухни. Зато просторные сени, где на столе курлыкал самовар.

Нам обрадовались. Младшее поколение этого домика — а детей у дяди Василия пятеро — давно отпочковалось. Один сын жил в Анжерке, другой был машинистом на станции Тайга. Дочери тоже недалеко, но все семейные, детные — когда им по гостям ездить?

Жена дяди — чернявенькая собою Анна Петровна, мордовка по национальности,— во время чаепития все наведывалась в кладовку к бочке с медом. Вазочка под мед оказалась маленькой, и дядя Василий, видя, как нравится племяннику мед, все посылал жену с вазочкой в кладовку. «Подкладывай, Анна Петровна, у нас мед свой, не купленный».

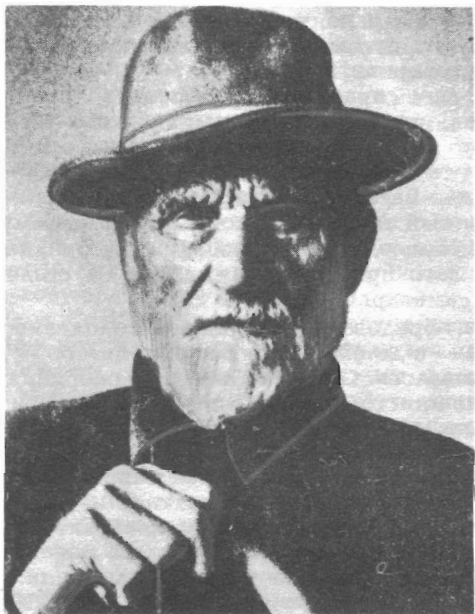
Роста дядя был могучего, спиною прям, голубоглаз, ликом румян, как и положено пасечнику. И лысина у него как у какого-нибудь академика. Это я потому так сравнила, что Василий Наумович отличался велеречивостью, в скороговорки не пускался, а племянника все навеличивал: «Да понимаете, Василий Дмитриевич...» И расспрашивал о жизни в Москве. И сам о себе рассказывал, как однажды, в Томске оказавшись, в оперу сходил. Так вот: ходим ли мы в Москве «на оперы»?

— Да некогда нам, дядя! Учились. Диплом защищали. А теперь книжки писать надо.

— Выходит, трудное это дело?

— Не легкое. Я вот когда хлеб сеял да убирал





*Василий Наумович Кириллов, глядя поэта  
со стороны матери.*

его, мне казалось, что труднее этого дела нету. Теперь я так не думаю. Всякий труд, если его делать хорошо, не легок. Но и выше удовольствия нету, как им овладеешь.

— Оно, конечно, Василий Дмитриевич. Вот хоть и пасеку взять... Тонкий подход к пчеле нужен. А главное — понять ее, пчелку.

Спать нам предложили на сеновале. Не жарко, и мухи не донимают. Но в изголовье у нас оказалось гнездо, куры садились в него по очереди и, снеся яичко, принимались кудохтать прямо над



*Ульяна Наумовна Федорова, мать поэта.*  
1937 г.

моей головою. И тут же по лестнице вспрыгивал на сеновал горластый петух огненной масти, и какой уж тут сон! Что же: значит, пора идти к реке, на луга. Мы ведь за этим и приехали!

В тот наш приезд, совпавший с прекрасной погодой, обилием ягод, за которыми мы ходили в поля, с походами на речку — на ее золотые плесы, поэт написал три стихотворения: «Я обманул однажды коршуна...», «Я не люблю немые реки...» и «Забывтую дорогу». И поскольку беседы с дядей Василием всегда касались федоровско-кирилловских родовых корней (моя свекровь до замужества носила фамилию Кириллова), то вспомнили и несчастливую любовь деда Харитона к солдатке Глаше... Василий Наумович, сам не без греха по



*Семья Федорова перед войной. Слева: Василий, сестра Татьяна, старший брат Иван; стоят: брат Иннокентий и жена Ивана — Люмила.*

части ухаживаний, к этой истории был особенно участлив: вот, дескать, у отца твоего, Дмитрия, каков орел папаша был... Анна Петровна, наоборот, слушая эту историю, хмурилась и вздыхала. Подозреваемая ею соперница жила как раз через дорогу...

Искра к созданию поэмы «Золотая жила» была брошена. И странно, что поэма опередила выход другой, давно задуманной поэмы — уже на новосибирском материале — о революционерке Дусе Ковальчук...

Поэта сразу потянуло к столу, к работе. Теперь он не расставался с записной книжкой, куда бы мы ни шли... После того, как он сводил меня за ягодами на бывший Федоровский покос, шевельнулся замысел стихотворения «Муза»...

В тот наш приезд мне больше всех понравилась младшая дочь Василия Наумовича — Мария. Она была замужем за фронтовиком из деревни Арышево и носила теперь такую же фамилию — Арышева. Помню: накоротке заглянула как-то в родительский дом — высокая, худощавая, вся порывистая, как ветерок, темноглазая, как мать, а статью в отца, и пригласила нас к себе в гости:

— Не придете — обижусь!

До Арышева от Марьевки всего два километра. Тоже при речке Яя дерезенька. И луга есть. И заросли смородины на них, да шиповника, да хмеля. И так же, как в Марьевке, имели некоторые арышевцы пасеки, и пчелки пожужживали прямо на улице возле палисадников. Приволье.

А Мария с мужем да тремя ребятишками в тесноте живет: за капитальной стеной свекор со свекрухой.



*Двоюродная сестра поэта М. В. Арышева у своего дома, в котором часто он бывал. 1985 г.*

— Мечта моя — в Марьевку всей семьей перебраться, — сказала нам на прощание Мария.

Когда через несколько лет Василий Наумович неожиданно овдовел, семья Петра и Марии Арышевых так и сделала: переехали в Марьевку, но уже в другой дом Василия Наумовича — побольше, поновее, не на задах, а на главной улице, ныне названной именем поэта...

Мы с мужем очень любили Марию, ее мужа — фронтовика-десантника Петра Михайловича, их детей — Галю, Наташу и племянника Васю. В Марьевку мы стали ездить потом часто, и дети Марии, можно сказать, выросли на наших глазах. Двое из них теперь БАМ строят, а третья — Наталья — в Туркмении живет. Все трое семейные, детные. Из тоненькой, девически стройной Мани превратилась Мария в солидную седеющую женщину, такую разумную, что советоваться к ней по житейским вопросам ходят даже мужчины... Фронтовик-десантник, один из героев моей повести «Во днях Марии» — лет пять тому назад умер.

Может, потому, что сразу прикипела я душою к двоюродной сестре мужа, выделив ее среди других славных женщин Марьевки, не воспротивилась я в один из приездов на родину мужа против идеи постройки собственного дома...

Марьевка и Мария Арышева входили в меня постепенно и прочно. Да и не могла я противиться все возрастающему стремлению Василия как можно основательнее и дольше жить в Марьевке. Это было потребностью его души и натуры.

Но прежде чем рассказать о возникновении дома на Назаркиной горе, должна я сделать некоторое отступление — в ту нашу московскую жизнь сразу после окончания Литературного института.

Сначала мы жили в семиметровой комнате в переулке Садовских. Потом в том же переулке, но в соседнем доме — на тринадцати метрах. Даль-

нейшего расширения жилплощади не предвиделось. В те годы жилья в Москве строилось мало. Оставалось одно: податься за город, в деревню. Тут как бы сразу два зайца: жилье и непридуманные герои.

Такое жилье было найдено. За сто километров от Москвы, в деревне Заднее Поле. Прожили мы там семь лет. Но сто километров, да еще с поклажей — дело не легкое. Устали оба. И сколь ни жалко было посаженного нами сада, переехали к Москве поближе — на хутор Гаврилов. Место красивое, лесное. Но без реки... А у нас у обоих в глазах Марьевка, речка Яя, озеро Кайдор, марьевские луга с ярко-желтыми цветами под названием огоньки, с целыми полянами незабудок и полевых гвоздик...

За время наших переездов с квартиры на квартиру, а также во Владимирской области, в Подмосковье Василием Дмитриевичем уже были написаны почти все его поэмы. Все, за исключением главной — «Женитьбы Дон-Жуана». Эта ироническая поэма, названная так не по прихоти поэта, а по своему замыслу, требовала особого уединения, я бы сказала: дальности расстояния от Москвы с ее магнитным притяжением. Тут не столько соблазны, сколько множество друзей-приятелей, а также и общественные обязанности поэта. Каждый писательский съезд он избирался секретарем правления Союза писателей РСФСР. Он был также членом редсоветов трех главных московских издательств — «Гослитиздата», «Современника» и «Советской России». Привлекли его и к участию в присуждении премий имени А. М. Горького. Как секретарь правления он курировал поэзию, и ему время от времени поручали делать на съездах или в памятные юбилейные даты обстоятельные доклады как об общем состоянии советской поэзии, так и по отдельным поэтам-классикам.

Все это часто отрывало его от письменного стола на хуторе Гаврилов, и Василий Дмитриевич

все чаще и чаще подумывал, куда бы ему можно было «спрятаться» не на недельку, а, скажем, сразу месяца на три. В летние месяцы общественная работа обычно затихала, особенно в правлении Союза писателей.

В 1970 году мы опять оказались в гостях у дяди Василия. К тому времени Василий имел уже несколько напечатанных произведений. И хорошую двухкомнатную квартиру мы уже имели. Жилищной стесненности не чувствовали. Все вроде бы хорошо, и все-таки... Марьевка! Звала она к себе поэта, снилась ночами. Когда начиналась весна, Василий Дмитриевич, глядя на плывущие льдины Москвы-реки, говорил: «А в Марьевке сейчас речка Яя до самого Кайдора разлилась. Самая красивая пора. А как вода схлынет, подсохнет чуть-чуть, и черемуха по лугам зацветет. Знаешь, какой аромат в деревню доносит?» Это все к тому, что собирайся, мол, в дорогу...

— Выбери сам: или на разлив ехать, или на колбу.

— Хорошо бы на то и другое...

— Четыре месяца на сеновале у дяди Василия? — спросила я, охлаждая его пыл. — Ты ведь потом и на ягоды захочешь остаться и даже на уборочную...

— На уборочную пору и совсем бы хорошо...

— Зачем говорить о том, что нереально?

Василий Дмитриевич умолкал, сраженный железной логикой. Во-первых, действительно, нельзя претендовать на сеновал в течение столь длительного времени. В Сибири погода меняется резко и неожиданней, чем в мягком Подмоскovie. Во-вторых, если тебя избрали на высокие общественные посты, то от силы можно отсутствовать месяца два, два с половиной, не больше...

Тот приезд стал особенно памятен. Директором совхоза в ту пору был молодой решительный человек по фамилии Салехов. Повез он нас на «архиерейскую» уху в пойму Яя, где луга особен-

но пышны. К веселой поездке подключился и парторг с женою, и кто-то еще из местного начальства. Над костром в ведерке булькало сначала мясо, потом туда же бросили килограмма два свежей рыбы, изловленной где-то у плотины в райцентре... В первый раз в жизни ели мы такую уху — под названием «архиерейская». Ну и, конечно, рыбка посуху не ходит. Тут уж мы не оплошали, прихватили.

Разнежились, конечно, все. А не скошенный дуг был особенно красив от множества цветов. Хватало тут работы марьевским пчелам. Сидящим возле костра прочел поэт свои стихи о марьевской музе, которая явилась ему, мальчишке, как предсказательница судьбы.

*Брела и землянику мяла  
Она подошвами босыми...*

А заканчивались стихи так:

*Все это было за Удою,  
У старой деговой избушки.*

Выпили за музу еще по чарочке-другой, и вдруг Салехов говорит:

— Хороший вы поэт, Василий Дмитриевич, душевный. И, чувствуется, любите родную землю. Давайте мы вам здесь дом поставим, живите себе на здоровье...

— Если за мой счет, то я готов.

— Да какие у вас, поэтов, деньги. Совхоз-то побогаче будет. Ну, а если уедете и не понадобится он вам больше, так ведь в карман его с собою не возьмете. Совхозу тогда и останется.

— Только за мой счет! — отрезал поэт. — Я наших марьевцев знаю. Разговоров не оберешься. Да и ошиблись вы насчет денег. Меня теперь уже печатают, значит, и деньги на дом найдутся. Ты как на это смотришь? — обратился он ко мне. А



у меня в голове то ли жужжание пчелок слышится, то ли выпитая чарочка пошумливает. А что, — говорю, — давай, построим. Да и воздух лугов такой пьянящий! И речка с перекатами, да с такими пляжами, что твоя Евпатория...

— Ну, а где вам этот дом ставить? — спрашивает директор. — Может, в Кильдиме, поближе к конторе, к столовой...

А Кильдимом марьевцы прозвали так называемые «Черемушки» на сельский лад. Там и здание почты, и магазин, и библиотека, и школа, и интернат... Но слово «Кильдим» выражало особое отношение коренных марьевцев к некрасивым казенным постройкам, к вечно не просыхающим лужам и тем «перекати-поле», которые как-то сезонно вселялись в «кильдимские» квартиры с «удобствами» во дворе... Рабочей силы в Марьевке всегда недоставало. Особенно в уборочную пору.

— Нет, с Кильдимом вы уж сами разбирайтесь... Я там не жилец. А вот на Назаркиной горе поставьте...

Салехов вопросительно поднял брови. Да и парторг, как все марьевские парторги, из приезжих, тоже не слышал такого названия.

— А где это?

— Да вон перед вами! Пустая гора. Там когда-то мой родственник Назар жил... Я его в «Золотой жиле» увековечил, есть у меня такая поэма... А под горю Кайдор...

— Кто под горю? — опять спрашивают недоумевающие директор и парторг.

— Озеро Кайдор. Это я его так назвал. По моему, красивее, чем «Кильдим»... Но, признаю, нагрузка в «Кильдиме» точная. Наши марьевцы зря словами не бросаются...

Было предложено вот сейчас и поехать туда — на Назаркину гору и вбить в нее первый кольшек...

Погрузили мы в два «газика» тарелки с ложками, ведро из-под «архиерейской» ухи, брезент,

на котором сидели, и покатали смотреть «строительную площадку»... С лугов до нее семь минут езды.

А гора-то сплошь полынью заросла! А у полыни в вечерний золотой час запах особый — как у дорогих духов, что с горчинкой... А уж вид с горы такой открылся, что каждый из нас на какое-то мгновение почувствовал себя художником.

— Н-да, товарищ поэт, не промахнулся ты с выбором места на земле! — вырвалось у директора совхоза.— А мы тут, как слепые, мимо ездили, нам и в голову не пришло, какой божий дар тут пропадает... Тот же клуб можно бы поставить, чтобы со всех сторон его видеть было...

— Здесь, говорят старики, перед революцией церковь замышлялась. Это мне мама рассказывала,— сказал Василий Дмитриевич.— Ну, а я безбожник, коммунист — пусть уж меня гора потерпит...

А у меня в душе сомнение с восторгом берет. Сомнение в том, что дом будет стоять как бы на отшибе от добрых людей, а тут ведь, случается, и бродяги ходят, «бичи» там всякие... Стройка тоже пугала. Характер мужа я знала: сам к себе строгий, он не терпел «тяп-ляповой» работы у других. Вдруг да такие строители и попадутся. Тогда конфликт с ними будущего хозяина неизбежен. Знала я и о том, что стройку непременно затянут. Но того, что директор уже «висит на волоске» и вот-вот его снимут, не предполагала. За что же его снимать — такого молодого и такого симпатичного?! Его преемник оказался таким же молодым и симпатичным и с таким же горячим желанием поставить поэту дом на Назаркиной горе. Директору Меньшикову мы и перевели вскоре три тысячи рублей и стали ждать сообщений: дескать, приезжайте, вселяйтесь!

Увы, увы... Стройка длилась два года. Смотреть, как идет дело, ездили и сам муж, и его

младший брат Иннокентий, и наш сын Игорь... И все они твердили одно: «Вид с горы — лучше не надо!»

— Ну, а дом-то, дом-то как подвигается? — спрашивала я.

— А дом никак не подвигается. Кто-то запил, кто-то проворовался. Надо ехать судиться, а вот с кем — это еще не ясно. С каким-то Чапаем...

А Чапай, как потом выяснилось, — родной брат мужа Марии Арышевой. Но если наш свояк — воплощение порядочности, то братец его, ныне уже покойный, повадками смахивал на Остапа Бендера. А марьевцы его Чапаем прозвали — видеть, за смелость действий...

Долго ли, коротко ли, как говорят в сказках, а все же вырос дом на горе. И заблестал шиферной крышей. И шестью окнами — в круговую. Так что солнце в нашем доме гостило с утра до вечера. И печку русскую Иван Павлович — местный виртуоз печного дела — так сложил, что выглядела она как замок Бродди — влезть и погреться на ней было невозможно — с бортовкой была, как у крепостной стены, но в этой бортовке были скрыты хитроумные дымоходы для обогрева тех комнат, где печки не было...

Дядя Василий дом одобрил. Чапая ругнул. Вид с горы похвалил. С полынью посоветовал немедленно расправиться, выдернув каждое растеньице с корнем. А потом часть горы вспахать велел, проборонить и цветами засеять — для пчел...

Так мы и сделали. И, боже мой, какая отрада для глаз разлилась в июне на нашей горе. Мавританский газон изобиловал цветами всех названий. К нам на усадьбу приходили марьевцы поахать и поудивляться. И почему-то сразу окрестили Назаркину гору «Дачей»...

— Какая дача? — сердился поэт. — Это дом для работы. Мне бы вот только большим письменным столом разживиться... Цветочки — это для начала. Потом я здесь деревьев насажу — всяких!



*Л. Ф. Федорова. Марьевка, 1978 г.*

Узнав о его намерениях, сестра Зинаида Дмитриевна прислала нам из Хабаровска, с берегов Амура, амурский орех, амурские клены, ясени, карагач... Горноалтайская станция плодопитомника выслала облепиху, черноплодную рябину. Но какая же гора без березок, без акаций, черемухи и, конечно, боярки! Позднее появились саженцы калины, рябины. Это уж марьевские школьники старались. И только кедры — любимое дерево поэта — несколько раз погибали, не вынося высокого места, подвластного ветрам, ко-

торые сдували с горы весь снег... Дубки — размером в ладонь — тоже долго растущее «задумчивое» дерево. Лиственница — та хоть и спорила с ветрами, хоть и стала расти наклонясь, но все же радовала нас своими мягкими лапками. Да, наша гора похорошела. Как необъезженный конь, поняв, что седок упорен и настойчив, Назаркина гора смирилась и утвердила за нами права хозяев. Мы прожили на ней пятнадцать лет. Жили по три месяца в году. Много это или мало? Много, если знать, что три эти месяца были до краев наполнены работой поэта. Мало, если соотнести три месяца и остальные девять месяцев года, принадлежащие Москве. Но марьевский заряд, я это утверждаю с чистой совестью, давал работу мысли в остальные девять месяцев года. Дописывать начатое в Марьевке или только задуманное там — на просторах сибирских — он ездил в дома творчества, чаще всего в ближнее Переделкино или, сочетая отдых с работой, — в Гагру.

За время жизни в Марьевке мы приобрели в Кузбассе очень много добрых и верных друзей. Поэты и писатели приезжали к нам иногда целыми автобусами из Кемерово. Секретари Яйского райкома партии — Анатолий Ананьевич Пицкин, Николай Андреевич Отроков, Владимир Иванович Иваньков, директора шахт из Анжерки, работники райисполкома, егерь Миша Арышев — пламенный защитник фауны Яйской земли, учителя Марьевской школы, библиотекари... И особенно добрые наши покровители из Кемеровского обкома партии, особенно П. М. Дорофеев, тогдашний секретарь по идеологии, — все, все делали нашу жизнь на Назаркиной горе более или менее разнообразной, давали нам понять, что Назаркина гора — это не забытый ими островок и что мы тут, хотя и предаемся творческому труду, все-таки не отшельники! Нас часто приглашали на учительские конференции, на выступления в Анжерку, в пионерлагеря и конечно же на выпускные вечера Марьевской десятилетки. И праздник бо-

розды порой тоже не обходился без нашего участия.

Иногда к нашей горе подкатывали автобусы Кемеровского телевидения... Василий Дмитриевич всегда ответственно относился к своим публичным выступлениям, нервничал и по возможности отказывался. А телевидение его просто выводило из равновесия. В таких случаях он старался «натравить» работников телевидения на самих марьевцев: дескать, лучше с ними побеседуйте, они все проблемы знают... «Вот с маминой подружкой побеседуйте — с Пелагеей Ивановной... Или с Катей Авсиевич, она вам и частушки споет, и стихи, ею написанные, прочитает... Парторг у нас сейчас отличный — бывший моряк Николай Карлович Поддубный».

Из кемеровских поэтов очень любил Евгения Буравлева, Виктора Баянова, Валентина Махалова. Не знаю, сохранилась ли на Кемеровском радио запись беседы\* его о поэзии с В. Махаловым у изгороди над обрывом, под которым продолговатым синим глазом светился Кайдор... Дело было под осень, у нас уже и стожок сена красовался на горе, и на крестообразных жердинах стожка уселась, громко каркая, ворона. Один из работников радио решил ее прогнать, ведь она мешала записи.

Поэт, беседующий с поэтом Валентином Махаловым, тут же услышал окрик на ворону.

— Не троньте ее, это моя ворона!

— Но, Василий Дмитриевич, она нам мешает.

— Это вы ей мешаете. Она тут живет. Каждая птица на нашей горе священна!

Ну, посмеялись, конечно, потом над этим заступничеством.

Да, он очень любил животных, зверей и птиц. Купленное им на тульском оружейном заводе великолепное охотничье ружье выстрелило толь-

---

\* Фрагменты беседы читайте на стр. 228—232.

ко один раз... Это было вечером накануне нашего отъезда из Марьевки. Прежде чем зачехлить ружье и отнести его на сохранение к сестре Марии, мой муж таинственно позвал меня выйти из дома...

— Пойдем, покажу, как оно стреляет.

— А в кого ты будешь стрелять? — испугалась я.

— Увидишь, увидишь... Только очки надень, а то еще не рассмотришь.

Это он насчет моей близорукости. Ну, ладно, надела я очки, смотрю: идет он с ружьем наизготовку к изгороди. А уже вечерело, и озеро внизу такое тихое — как огромное зеркало. И лягушки внизу квакали.

Прицелился он в это зеркало да как бабахнет!

— Видела? — спрашивает. — Сколько ряби на озере было? Это дробины попали. Если б выводок уток сидел — ни одна бы не уцелела!

Рассказала я об этом Марии Васильевне, и долго мы с нею смеялись над незадачливым охотником.

— Зачем ружье-то покупал?

— Так Лара боялась на горе жить. А я ей сказал: не бойся, самое меткое на заводе выберу. Кто же ее защищать должен, если не я?!

Да, жизнь в Марьевке — это светлое время нашего творческого труда, наблюдений и, я бы сказала, душевного единения с жизнью марьевцев. Это мы знали, что нам надо работать, всматриваться в каждую судьбу. А марьевцы, видя наш простой образ жизни, скоро совсем забыли о том, что мы писатели. Вот этого мы и хотели! Ничем от них не розниться, не выделяться. Я никогда не брала с собою в Марьевку никаких нарядов. А Василий Дмитриевич вообще не был франтом. Кепочка, юнгштурмовка, чтобы не продувало при поездке на мотоцикле «Урал». Галстук только при поездке в райцентр Яю.

Марьевцы к нам приходили часто. Особенно в первые дни приезда. То, смотришь, Катя Авсие-

Ты мне  
 скажи,  
 почему  
 я живу  
 по-прежнему,  
 до сих пор  
 так же

Уверь и давай  
 как-нибудь да,  
 почему же ты живешь,  
 о чем ты  
 так далек от счастья,  
 чего хочешь тебе,

Зачем, зачем  
 и несишь ты  
 груз? Да  
 да неси огни  
 зачем, зачем  
 и седишь ты,  
 зачем ты  
 живешь

бы скажи  
 сразу впрямую,  
 зачем рождался,  
 чтоб стало мне  
 как ты мне  
 давай  
 давай  
 давай

Автограф стихотворения В. Д. Федорова с посвящением жене. Марьевка. 3 августа 1972 г.

вич — женщина в годах, а фигура, как у балерины Улановой, — с цветочным горшком идет: «Вот тебе, Ларисонька, герань на подоконничек», то Екатерина Яковлевна Кондерская — рамочку сот для поэта приберегла. Муж-то ее, Александр Фадеев



вич, на деревне первый пасечник. Это его пчелки над нашим мавританским газоном гудом гудели все лето!

А то с другого конца деревни Акулина Борисовна Федорова, наша однофамилица, деревенских яичек в кошелке несет да первых огурчиков... «Еще, поди, и в магазин не успели наведаться, так вот вам гостинчиков».

Ну и мы, конечно, не без гостинцев к марьевцам являлись. Особенно для соседской детворы. Однако носить к нам огромные букеты цветов мы в два голоса запретили: для встречи гостей вполне довольно два-три цветочка.

Марьевцы — народ яркий, колоритный. Чем больше я вслушивалась в их речь, тем яснее мне становилось, что поэт Василий Федоров, имея задатки таланта, рос на благодатной почве. Щедрость природы и людей, обитавших на этой земле, сотворили большого поэта.

Исполать тебе, Марьевка!

Февраль 1985, Москва



В. Д. Коркин

## МОЙ ДОРОГОЙ ТЕЗКА



*На встрече с литобъединением «Красная Пресня» имени В. В. Маяковского. 10 марта 1969 г. Справа В. Д. Коркин.*

В начале Великой Отечественной войны я работал редактором многотиражки на авиационном заводе. Одновременно я нес обязанности секретаря районного комитета комсомола.

Всем жилось нелегко. Бывало, что по несколько суток мы не покидали своих цехов и рабочих мест, питались тоже не ахти как.

Однажды ко мне в многотиражку зашел высокий, хмурый и худощавый парень в долгополой армейской шинели. Он поздоровался и положил передо мною листки со стихами.

— Может, пригодится, посмотрите.

Я обрадовался, стихи нам очень даже требовались.

— А чьи же это стихи? Фамилия-то не указана.

— Федоров я, Василий, работаю старшим мастером.

Я стал просматривать стихотворения, а мой новый автор, не отходя, нервно постукивал по столу пальцами.

— Торопитесь, что ли?

— А как же, меня там работа ждет. Вы мне только скажите, пойдет или нет?

— Пойдет, пойдет. Идите уж, коли торопитесь. Но вот одну строчку я бы попросил вас переделать сейчас. Сумеете?

Федоров вышел в коридор, примостился на подоконнике и минут двадцать «поколдовал» над строкой.

— Готово. Так, конечно, лучше стало.

Вторично он появился у меня в день выхода газеты с его стихами. Тогда-то у нас и состоялся с ним продолжительный и деловой разговор. Оказалось, что до новосибирского авиазавода он работал на иркутском и тоже печатался в многотиражке. К тому же, как я выяснил во время беседы, старший мастер умел пошутить и даже «подковырнуть» нерадивых. Это меня обрадовало еще больше: значит, можно организовать летучий «Крокодил». Художники у нас были, а юморист вот он.

Еще он мне сказал, просмотрев подшивку нашей газеты, что многие из опубликованных стихов, по его мнению, недоработаны и что впредь редакции, пожалуй, не следует торопиться с печатанием художественных произведений, а надо

как-то над ними поработать. Я понял, что и тут он предлагает свою помощь.

— Прекрасно,— обрадовался я.— Может, мы и на целые литературные страницы наскребем.

На заводе Василия Федорова знали и как хорошего пропагандиста, и опытного мастера-воспитателя. О его добрых делах и начинаниях нередко можно было услышать по заводскому радио, на оперативках, профсоюзных собраниях и партийно-хозяйственных активах.

Вскоре мы его приняли в партию. По-доброму и тепло говорил о его работе секретарь областного комитета партии М. В. Кулагин на партактиве, проходившем в Театре юного зрителя.

Весной 1943 года меня отозвали в распоряжение обкома партии и направили в Москву. Перед отъездом я навестил журналистов из газеты «Советская Сибирь», зашел и в местное отделение Союза писателей, где встретил чудесного человека Глеба Михайловича Пушкарева. Этот старейший сибирский писатель интересовался работой многотиражки и в ответ на мое сожаление, что вот уезжаю, так и не сколотив литературного объединения, спокойно ответил:

— Не волнуйся, не волнуйся, создадим. Творческие силы у вас на заводе найдутся. Там один Федоров чего стоит.

Я долго не знал, что Василий Федоров, как и я, живет в Москве. В 1959 году, будучи в командировке в Новосибирске, позвонил на квартиру его сестры. А мой тезка в это время тоже гостил у родных. Через полчаса я уже был в его крепких объятиях. Мы вдоволь наговорились обо всем, что нас волновало. На прощание он подарил мне огоньковое издание «Золотой жилы», с трогательной надписью: «Двойному тезке Василию Дмитриевичу Коркину — однозаводцу, от души». В моей личной библиотеке собраны теперь почти все поэтические сборники поэта, с дружескими дарственными экспромтами.

*Дорогой Вася!  
В своей многотиражке  
Не делал ты поблажки.  
Я нес свои вериги  
Во имя этой книги.*

Так было написано на однотомнике «Второй огонь» 24 июня 1967 года.

В автографе к сборнику «Третьи петухи» он назвал меня своим первым издателем, а в сборнике лирики — своим «первопечатником» и, конечно же, с постоянными напоминаниями о его любимой Сибири: «Дорогому Василию Дмитриевичу Коркину, вспоминая наше давнее сибирское житье. От всей души». К однотомнику из «Библиотеки сибирской поэзии». 1964 год.

Я испытывал огромную радость, когда, работая в Госкомиздате РСФСР, непосредственно участвовал в подготовке документов на выдвижение Василия Федорова на соискание Государственной премии Российской федерации за поэму «Седьмое небо», выпущенную издательством «Советский писатель» в 1968 году.

Знакомство и долголетняя дружба с Василием Дмитриевичем Федоровым — одно из счастливых событий в моей жизни.

Расина Глазкова

ПО СОСЕДСТВУ



*В. Д. Федоров в Переделкине. 28 сентября  
1971 г.*

Нас объединял Бородинский мост Москвы-реки. Мы жили тогда на старом Арбате, в конце его, Федоровы — в начале Кутузовского проспекта. А Центральный дом литераторов — в конце улицы Воровского, на равном расстоянии пешком от нас и от них.

Получался равнобедренный треугольник, по которому любившие ходить пешком Вася Федо-

ров и Коля Глазков множество раз хаживали друг к другу.

Я познакомилась с Федоровыми лет тридцать назад. Это была примечательная среди московских литераторов пара. Высокий, стройный, худощавый Вася, с русой копной рассыпающихся волос, и Лара, кудрявая шатенка, с лукавинкой в глазах, с носиком, который принято называть «пикантным», и с чуть криво посаженным зубиком, который она вскоре сменила на золотой...

А жили они в то время еще близ улицы Горького, в переулке Садовских, в маленькой комнатке «коммуналке», дверь которой выходила прямо под арку. Не часто печатали тогда стихи Василия Федорова, но голодно у них не было. Лара ездила в командировки от журналов и печатала то фельетоны, то очерки.

Когда Коля приходил к ним в гости, они сразу садились играть в шахматы. Играли часами. Коля давал Васе «фору», хотя тот, игравший на разряд слабее, все же частенько отвергал. Вася рассказывал мне, что как-то раз они так заигрались, что усталый Коля задремал, и партнер будил его для очередного хода, после чего Коля вновь засыпал. Но в рассказе Васи не было того, что так поразило Колю: Васина принципиальная честность, которая отличала его во всех случаях жизни. Вася явно проигрывал (а он был азартным игроком), и поражение для него было обидным. Казалось бы, ничего не стоило ему чуть «поправить» свое положение на шахматной доске... Но он ни разу не пошел на это...

Честность и принципиальность — характернейшие черты его жизни и творчества. В начале шестидесятых годов дружба связывала Василия с поэтом В. Потом их жизненные пути и, главное, взгляды, резко разошлись, и они перестали общаться. Но когда В. тяжело заболел и его надо было срочно госпитализировать, не кто иной, как Федоров, добился для В. очень хорошего стацио-

нара. А ведь несколько месяцев тому назад на моих глазах он его в буквальном смысле слова спустил с лестницы. Так же было и на приеме в члены Союза писателей его бывшего друга, писателя С. Тоже разошлись. И тоже, когда надо было сказать решающее слово в жизненно важном деле, Федоров сказал «за» прием.

Я уже упомянула раньше, что в начале пятидесятых Федоровы жили отнюдь не в большом достатке. И однажды, смеясь, один из них рассказал, что в день безденежья их выручил кот, который впрыгнул в форточку с кругом колбасы в зубах. Теперь этот факт удостоверен Василием Федоровым в одном из «Снов поэта».

В 1956 году летом Федоров ездил по своим издательским делам в Калинин. А директором издательства был его однокашник по Литературному институту Александр Парфенов. И в это же издательство мой муж, поэт Николай Глазков, предложил свою первую книгу стихов. Федоров сам вызвался отредактировать книгу и, получив «добро» от издательства, сделал это тщательно и со вкусом. А Парфенов вдруг засомневался из каких-то соображений, выпускать ли эту книгу. И тогда Федоров заявил ему, что человек во всех ситуациях, как бы они ни были затруднительны, не должен идти на компромисс с обстоятельствами, а раз дал слово, то и надо держать его. Он сказал это очень сурово. И книга вышла. А Глазков после этого звал Васю Федоров-первопечатник.

Помню и другой случай — уже в редакции журнала «Молодая гвардия», где заместителем главного редактора работал Василий Федоров. Он отобрал стихи одного из авторов для печати, а в редакции эти стихи отклонили. И тогда Федоров заявил, что он уходит с поста, так как его вкусу, видимо, не доверяют. Сказал — и ушел.

И в другой раз меня поразил Вася. Это было на нашей даче в Подмоскowie. Он приехал с ночевкой. На следующий день друзья, как водится,





*Супруги Федоровы на отдыхе в Крыму. 1964 г*

заговорились, заигрались, а когда Вася спохватился, было уже позднеенько для посещения хозяйственного магазина, где ему надо было обязательно купить большие гвозди для строящейся его дачи во Владимирской области. И он, естественно, опасался справедливой нахлобучки от ждавшей его с гвоздями Лары. Я успокоила, сказав, что и у нас в магазине продаются нужные ему гвозди и мы можем успеть сбежать в него до закрытия. И мы побежали вдоль улицы. И вдруг, на всем бегу, Вася остановился. Он просто замер возле забора, за которым красовалась огромная, с удивительно прямым стволом, раскидистая береза. «Какая красавица!» — повторял он. И долго бы еще стоял, если бы я не сказала, что и на обратном пути она все так же будет радовать нас своим видом. Лишь после этих моих заверений он последовал за мною в магазин за нужными ему гвоздями.

А вот еще один характерный эпизод. Грустный именинный стол. Незадолго до дня рождения моего мужа скончалась его мать, и мы решили никого не звать в этот день и ничего не праздновать. Но, как знать? А вдруг, как бывает в Москве, нагрянут... Вот и накрыла я стол. Звонок в дверь, и, запорошенный снегом, явился, как сказочный Дед Мороз, Василий Федоров с огромным свертком в руках. К вящей радости нашего маленького сына из свертка, как из рога изобилия, посыпалось все, что составляет мечту почти каждого мальчугана: набор для поделок принес в этот день Вася, тонкий и душевный человек. Поэт и сам любил возиться с поделками из дерева и как-то похвалился вырезанной им тростью.

А теперь о трех запомнившихся мне радостных и веселых застольях.

Когда вышла поэма «Белая роща», Федоровы все еще жили в одной комнатке и, для того, чтобы отметить выход книги, вынуждены были «одолжить» квартиру одного рядом живущего начи-

нающего поэта. Там был огромный круглый стол, который объединил поэтов-«шестидесятников». Так шутливо называли они тогда самих себя. Шли тосты, читались стихи, пелись песни. Звучал смех. Вася демократично направлял застолье: тост за друзей, за поэзию, за милых женщин. Не забывал гордиться и Лариной кухней — ее пельменями, какими-то шанежками и пирогами с рыбой: «Пробуйте, пробуйте, это наши, сибирские...»

Прошло еще двадцать лет, и признанный поэт, лауреат государственных премий, автор множества книг, справляет в ресторане «Украина» свое шестидесятилетие. Много друзей, много смеха, тостов. Вася и Лара в «президиуме» огромного стола. От них мы с мужем оказались поблизости, и мне приятно было наблюдать за юбиляром. Одухотворенное радостью лицо, изящество и в одежде, и в жестах его очень артистичных рук и жесткий самоконтроль.

В последние семнадцать лет он уже с весны уезжал в свою любимую Марьевку. А вернувшись, рассказывал о своих поездках, о людях, о том, как хорошо ему пишется в родных местах. Один раз попросил меня достать ему для Марьевки различные стамески и прочий инструмент для резьбы по дереву. Он любил ремесла и обладал точным врожденным вкусом, чему я, профессиональный художник, поначалу как-то не доверяла, что ли... Все мне казалось, что это случайность. Потом я даже спросила его, не учился ли он когда-нибудь в художественном учебном заведении. И Вася мне ответил: «Конечно, учился и учусь всю жизнь — у природы».

Заканчивая воспоминания, я не могу не сказать, что постепенно Триумфальная арка, близ которой теперь жили мы и Федоровы, нас отдала и разъединила. Мы стали старше, стали более занятыми. Да и больными тоже.

Николай Иванович и Василий Дмитриевич, бывая в отъездах или командировках, иногда писали

друг другу то открытки, то небольшие послания. Иногда это были стихи. Так, приехав в Марьевку и послав на суд Николая Ивановича свою законченную поэму «Женитьба Дон-Жуана», Василий Дмитриевич получил его отзыв:

### ЖЕНИТЬБА ДОН-ЖУАНА

Василию Федорову

*Прекрасный и взыскательный поэт,  
Достигший основательных побед,  
Твою поэму я читал со страхом:  
Боялся неоправданных глинтот  
И опасался, что сюжет не тот,  
Не одолел ее единым махом.  
Но радуюсь сегодня за тебя,  
Что превзошел ты самого себя.  
Твой Дон-Жуан один из удалых  
На уровне стандартов мировых,  
Не выдуман, а существует в жизни!  
Достоин он Гордеева побил,  
И кресла делал, и гроба рубил,  
Лишь песнь седьмая, на мой взгляд, излишня.  
Так, самобытным словом обуян,  
Я откровенен, словно Дон-Жуан!*

И отвечал так:

3.VII.78 г. Марьевка.

*Дорогие Инна и Коля!*

*После своего юбилейного вечера в гостинице «Украина», где мы с Ларой имели честь видеть вас, я на третий день удрал в Ялту, а после нее — в Эссентуки, а после них был Академгородок, Новосибирск, а теперь — Марьевка.*

*В Москве я почти не задерживался, потому-то, к сожалению, не имел возможности заглянуть к вам. Приеду — исправлюсь. Коля, держись! Врачей все же не отвергай. Здоровье лучше принципов! Ваш В. Д.*

\* \* \*

Николаю Глазкову

На радость мне  
До Марьевки дошла  
Твоя, мой друг, «Жуану» похвала.  
Леса всплясали, обнажив коренья.  
Поля взыграли буйством колосков,  
Что похвалил сам Николай Глазков,  
Хотя и был в неважном настроенье.  
А старый бык мычал, он напяр-му-ю  
Отстаивал в поэме Песнь Седьмую-ю...

Казалось бы,  
Прожившему века  
Всего пустяк мычание быка,  
Казалось бы при этом — боже святой! —  
«Седьмую Песнь» легко нам извести,  
Для славы бы хватило и шести,  
Живет же Е. Онегин без Десятой.  
Но не хочу, мой друг, за счет поэтов  
Расплаживать  
Литературоведов.

Сказал ты,  
Что творенье рук моих  
На уровне стандартов мировых,  
Не нам, однако, миру бить поклоны,  
Свои бога глядят со всех сторон,  
Ну, да, великий Байрон, он Гордон.  
Горды и мы, хотя и не Гордоны.  
Хотел бы к вышесказанному в довод  
Тебе для похвалы  
Дать новый повод!..

Вас. Федоров

1985 г.



Александр Быков

**ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ**



*Л. Ф. Федорова с братом Александром. Марьевка, август  
1985 г.*

Мое знакомство с Василием Дмитриевичем Федоровым состоялось в 1952 году, когда я приехал к сестре в Москву на зимние студенческие каникулы. До этого я знал о Федорове только то, что муж моей старшей сестры родом из Сибири, что они учились вместе в Литинституте и даже сидели за одной партией. Потом Лара рассказывала,

что в первые дни знакомства они так усердно переписывались на лекциях, что профессор русской литературы Фохт однажды привел их в пример как самых прилежных, чем вызвал дружный смех всей аудитории.

Когда я впервые приехал к Федоровым, они жили в маленькой комнате коммунальной квартиры в переулке Садовских, в доме настолько старом и ветхом, что он со всех сторон был подперт какими-то балками и бревнами, что придавало ему вид корабля на стапеле.

Мое появление в квартире Федоровых началось с неожиданностей. Вначале сестра долго не могла открыть дверь, так как она, открываясь, прямо на улицу, за ночь примерзала. А когда я переступил порог, на меня в прихожей двинулась огромная овчарка. Я попытался к выходу, но Лара сказала, что собаки бояться не надо, это соседский пес Дик и он не укусит, если соблюдать два условия: не подходить к дверям соседей и теснее прижиматься к стенке, когда проходишь к Федоровым. Это второе условие, видимо, выполнялось гостями Федоровых особенно старательно, так как вся стенка была вытерта до блеска.

Проскочив в комнату, я спросил:

— Почему вы не заставите соседей убрать собаку из прихожей?

— Мы им говорили, но они не хотят.

— Обратились бы в милицию.

— Обращались, но там сказали, что, пока нет «факта укуса», они вмешиваться не могут.

Потом я узнал, что «факт укуса» предлагал сделать их однокурсник Александр Парфенов, фронтовик, потерявший на войне ногу. Ходил он на деревянном протезе.

— Давайте, — сказал он, — я пройдусь перед Диком, и пусть он укусит меня за деревяшку. Я заору, соседи выскочат и увидят, что их собака меня укусила. А вы сразу напишите заявление в милицию.

Федоров от этого предложения отказался, заявив, что это было бы нечестно по отношению к Дику.

В те времена Василий Дмитриевич увлекался шахматами. По вечерам у них часто собирались любители этой игры: то Владимир Солоухин, то Николай Глазков, то Владимир Тендряков.

Однажды вечером, после очередной партии в шахматы, мы пошли с Василием Дмитриевичем погулять по улице Горького. Поэт был в хорошем настроении и в этот вечер много рассказывал о своем детстве. Тогда я впервые услышал о его родной деревне Марьевке. По его словам, это было самое интересное и самое красивое место на земле. И что есть около этой деревни озеро Кайдор, все в кувшинках и лилиях, а над озером возвышается гора, которая называется Назаркиной. И тут же поделился своей мечтой: когда-нибудь поставить на этой горе свой домик и жить там каждое лето.

— Надоест ведь каждое-то лето на одном месте, — усомнился я.

— Нет, — возразил поэт, — Марьевка мне никогда не надоест. А Назаркина гора — это вообще особое место на земле. Вроде и не высокая, а мне кажется, что я с нее всю Сибирь вижу.

Когда проходили Пушкинской площадью, Василий Дмитриевич предложил зайти посидеть в ресторан «Арагви». Я никогда не был в московских ресторанах и поэтому с радостью согласился. В ресторане было немногочисленно, и мы без труда нашли укромное место, где можно спокойно посидеть и поговорить. Василий Дмитриевич продолжал рассказывать о своей жизни в Сибири, о марьевских лугах с земляникой и саранками, о речке Яя с ее тремя быстрыми, в которых он с мальчишками купался в детстве. Как-то незаметно разговор перешел на годы войны. Тут Василий Дмитриевич с горечью рассказал о том, как их, молодых учлетов, готовили к отправке



на фронт и как в последний момент, когда уже был сформирован отряд, вернули всех обратно на авиационный завод делать самолеты.

О работе в Новосибирске на авиационном заводе он говорил с особой теплотой. Здесь, как и в иркутской многотиражке авиазавода, он напечатал свои стихи, потом в журнале «Сибирские огни». С какой-то особой гордостью он рассказал мне о том, как ему, тогда еще совсем молодому технологу, удалось решить сложную техническую задачу по изготовлению какой-то очень ответственной детали самолета. С большой убежденностью он доказывал, что в работе на заводе у него было не меньше вдохновения, чем при работе со стихами. За оживленной беседой время пролетело незаметно. Пора было уходить. Тут произошел маленький инцидент. Похлопав себя по карманам, поэт смущенно объявил, что бумажник с деньгами, он, кажется, оставил дома. Расстроенные, мы начали обыскивать все свои карманы. Наскребли девяносто три рубля дореформенных денег. Я с тревогой спросил своего растерянного свояка, что мы будем делать, если денег не хватит.

— Тогда я тебя оставляю здесь, а сам сбегая за деньгами,— последовал ответ.

Меня не очень радовала перспектива заложника, но другого выхода не было. Не показывая тревоги, мы позвали официанта и попросили счет. Он насчитал девяносто один рубль! На радостях Федоров дал один рубль «чаевых» официанту и последний рубль — гардеробщику. По моему студенческому представлению это было недопустимое транжирство. По дороге домой я сказал ему об этом. Поэт ответил:

— Мы с тобой обрадовались, что нам денег хватить рассчитаться? Вот пусть и у них будет маленькая радость.

Такое объяснение «чаевых» я слышал впервые.

После окончания Казанского авиационного института в 1954 году я был направлен работать в Москву и с этого времени стал часто бывать у Федоровых. Квартира их тогда, несмотря на малые размеры, была всегда многолюдна. Приходило много друзей однокурсников. Частыми гостями были Владимир Солоухин, Николай Глазков, Михаил Годенко, Эдуард Асадов, Семен Шуртаков, Константин Ваншенкин, Инна Гофф, Маргарита Агашина и многие другие. Играли в шахматы, читали стихи, спорили о литературе. Часто сидели на дружеские чаепития. Я всегда удивлялся, как могли размещаться в тринадцатиметровой комнате за одним небольшим столом пятнадцать-шестнадцать человек. Правда, в таких случаях стул сестры всегда стоял в раскрытой двери. Такое расположение позволяло хозяйке беспрепятственно бегать на кухню. «Фирменным блюдом» в федоровских застольях были сибирские пельмени. Василий Дмитриевич их очень любил, а сестра научилась их делать с молниеносной быстротой.

В 1960 году Федоровы получили новую квартиру на Кутузовском проспекте. К этому времени Василий Дмитриевич уже утвердился как известный поэт. У него вышли книги «Марьевские звезды», «Лесные родники», «Белая роща», «Дикий мед», «Не левее сердца» и другие. Он активно сотрудничает в различных журналах и издательствах. В доме Федоровых в этот период царит дух активного творчества. Лариса Федорова пишет прозу. У нее выходят книги «Катя Уржумова», «Ветер в лицо», печатаются рассказы в журналах. Она работает внештатным корреспондентом в «Советской женщине», «Крокодиле», «Крестьянке»...

В 1961 году Федоровы приобретают небольшую дачу под Москвой на хуторе Гаврилов. Василий Дмитриевич собственноручно отделявал кабинет,

веранду и другие помещения своего загородного жилища. Я всегда удивлялся, с каким старанием и умением он работал топором, пилой, рубанком. Особенно любил заниматься резьбой по дереву. Однажды — уже в семидесятых — он привез из Гагры корень большого дерева. Удивляюсь, как его впустили с таким «рогатым» багажом в самолет. Потом поэт рассказал, как он ходил в Гагре целую неделю в горы и откапывал эту замысловатость маленькой лопаткой. Поверженное бурей дерево было буком. «Каторжная работа», — закончил он свой рассказ.

Сестра моя время от времени очищала квартиру «от этих рогулек», но через некоторое время появлялись новые. Непререкаемым авторитетом в резьбе по дереву для Василия Дмитриевича был С. Т. Коненков. Однажды он попросил меня сходить в музей этого прославленного скульптора и сделать эскизы инструмента, которым тот работал. Поэт был убежден, что, имея такой, как у Коненкова, инструмент, он сможет придать корням художественный образ.

Еще Василий Дмитриевич очень любил животных, особенно собак. Но не везло с ними поэту. Когда Федоровы жили во владимирской деревне, его первым четвероногим другом был красивый и умный пес Джек. Это ему Федоров посвятил такие строки:

*Но ты  
Купаешься в снегу,  
От счастья лаешь на бегу.  
А я степенный — я гуляю...  
Играй, гуша моя, с тобой  
Нервинкой, клеточкой любой  
Твою я радость разделяю.*

Джека украли. От потери Василий Дмитриевич целую неделю не находил себе места. Потом не выдержал, и в подмосковном питомнике купил месячного щенка-овчарку. Пока он вез его на

веранду и другие помещения своего загородного жилища. Я всегда удивлялся, с каким старанием и умением он работал топором, пилой, рубанком. Особенно любил заниматься резьбой по дереву. Однажды — уже в семидесятых — он привез из Гагры корень большого дерева. Удивляюсь, как его впустили с таким «рогатым» багажом в самолет. Потом поэт рассказал, как он ходил в Гагре целую неделю в горы и откапывал эту замысловатость маленькой лопаткой. Поверженное бурей дерево было буком. «Каторжная работа», — закончил он свой рассказ.

Сестра моя время от времени очищала квартиру «от этих рогулек», но через некоторое время появлялись новые. Непререкаемым авторитетом в резьбе по дереву для Василия Дмитриевича был С. Т. Коненков. Однажды он попросил меня сходить в музей этого прославленного скульптора и сделать эскизы инструмента, которым тот работал. Поэт был убежден, что, имея такой, как у Коненкова, инструмент, он сможет придать корням художественный образ.

Еще Василий Дмитриевич очень любил животных, особенно собак. Но не везло с ними поэту. Когда Федоровы жили во владимирской деревне, его первым четвероногим другом был красивый и умный пес Джек. Это ему Федоров посвятил такие строки:

*Но ты  
Кулаешься в снегу,  
От счастья лаешь на бегу.  
А я степенный — я гуляю...  
Играй, душа моя, с тобой  
Нервинкой, клеточкой любой  
Твою я радость разделяю.*

Джека украли. От потери Василий Дмитриевич целую неделю не находил себе места. Потом не выдержал, и в подмосковном питомнике купил месячного щенка-овчарку. Пока он вез его на



*В Подмосковьѣ, 1957 г.*

такси в ту владимирскую деревеньку, щенок всю дорогу скулил и дрожал от нервного возбуждения. Незадачливый хозяин вначале подумал, что щенку жарко и что он хочет пить. Три раза останавливал он такси и сажал щенка в лужу. Тот продолжал скулить и дрожать. Тогда поэт спрятал щенка за пазуху. Домой они приехали оба мокрые и грязные, но уже подружившиеся. Собаку называли Варягом. Но характер у этого пса оказался довольно опасным. Иногда он неожиданно свирепел и в такие моменты мог укунить даже хозяина. После нескольких таких инцидентов пришлось отдать овчарку обратно в питомник. Тогда Федоровы жили уже близко от Москвы, на хуторе Гаврилов.

Самая трогательная история была с Русланом. Этого щенка подарил поэту свояк-охотник на день рождения. Пес был ласковый и умный, и Федоровы его очень полюбили. Но тут новая неприятность. Собака была гончей породы, и ее охотничий инстинкт проявился довольно неприятным образом. Руслан начал душить соседских кур и приносить их домой. Каждая охотничья вылазка собаки заканчивалась очередным скандалом и денежной компенсацией за погибшую курицу. Долго бились хозяева, отучая пса от дурной привычки, но все напрасно. Охотничий инстинкт оказался сильнее. Свояк-охотник, подаривший Руслана, был приглашен на консультацию. Он уверял нас, что эта собака должна идти на зайца, на лисицу, но уж никак не на кур. И если уж собака так недостойно ведет себя — надо привязать ее на цепь. Но Василий Дмитриевич был категорически против цепи. Тогда решили отдать собаку какому-нибудь охотнику. Такой охотник нашелся в соседней деревне.

Через несколько дней после того как Руслан был отдан новому хозяину, сестра моя стала замечать, что муж начал грустить. Ясно, что тосковал о Руслане. Окончательно вывел поэта из равновесия такой случай. На соседней даче хозяин

привязал щенка на цепь во дворе. Щенок всю ночь скулил и повизгивал. А Федотов всю ночь не мог уснуть. Все переживания щенка он переносил на Руслана. Утром он прочитал жене такие стихи:

*Ночь холодная  
Пасть раззявила,  
Ты не плачь, щенок,—  
Сам реву...  
Я убью  
Твоего хозяина,  
Цепь железную  
Разорву.*

А потом поэт стал уговаривать жену, чтобы она сходила к охотнику и попросила его отпустить Руслана хотя бы на день повидаться. Все вразумления оказались напрасными. Пришлось согласиться. Василий Дмитриевич тоже пошел с женою, но с охотником предпочел не встречаться, оставшись в рожице.

Тот очень неохотно отпустил пса на свидание с прежним хозяином.

— Да как же он, взрослый человек, не понимает, что собака уже привыкла к нам! Нельзя ее сейчас дергать! Пойдемте, я поговорю с вашим мужем по-мужски!

— Поэт. Что с ним сделаешь?! — защищалась сестра. — Да вы не волнуйтесь, я приведу собаку обратно.

На опушке было буйство обоюдной радости и восторга! Потом они оба побежали вдоль опушки и скрылись из вида.

Когда сестра пришла домой, муж и Руслан сидели в кабинете на диване и «оживленно беседовали». Из холодильника были извлечены все имеющиеся в наличии деликатесы. На ночь Руслан был оставлен в кабинете. Но утром поэт мужественно ушел с Русланом, когда все еще спал. Ниде

не знает, состоялся ли у поэта «мужской разговор» с охотником, но домашним было заявлено:

— Больше в нашем доме собак никогда не будет.

В последние годы Василия Дмитриевича все больше тянула к себе родина — деревня Марьевка. Каждый год в конце мая он начинал собираться в Марьевку «на колбú». Этот дикий чеснок Василий Дмитриевич считал панацеей от многих недугов.

Как-то я спросил поэта, почему он так однообразно проводит лето, а не едет куда-нибудь путешествовать. На это поэт ответил:

— Понимаешь, какое дело. Во-первых, поездка в Марьевку мне никогда не бывает скучной. Она дает мне такой заряд бодрости, какого я не получу ни на одном курорте.

Однажды он приехал из Сибири и сообщил мне, что ему обязательно нужно купить японский спиннинг.

— Хочу ловить щук и крупных окуней. Помоему, в омутах на Яе их великое множество.

С большим трудом, но японский спиннинг был куплен. Однако надежды на речные омута не оправдались.

Одна из особенностей характера Василия Дмитриевича была в том, что он не мог терпеть присутствия в зале родственников во время своих выступлений. Поэт так объяснял это. Когда он учился в марьевской школе и был пионером-активистом, ему поручили сделать доклад об Октябрьской революции. На доклад были приглашены родители. И вот, когда юный докладчик поднялся на трибуну и начал говорить, то увидел в первых рядах свою маму. Она сидела опустив голову и нервно теребила передник. На сына ни разу не взглянула. Когда он пришел домой, спросил у матери, почему она так странно себя вела. Мать ответила, что она боялась, вдруг он что-нибудь не так скажет. Эта боязнь сказать «что-



нибудь не так» в присутствии родных передалась поэту.

Больше всех страдала от этой странности моя сестра. Ей как жене всегда хотелось присутствовать на выступлениях поэта, но разрешения на это она не получала. В конце концов пришлось проявлять завидную изобретательность и находчивость, чтобы попасть на выступления незамеченной. Расскажу о двух таких случаях.

В мае 1962 года Федоров выступал в Политехническом музее. Это было его первое выступление в известном всем любителям поэзии зале, где не раз выступали и Маяковский, и Есенин, и многие другие прославленные поэты. Естественно, Василий Дмитриевич перед выступлением заметно волновался. Волновалась и жена поэта. Она хотела во что бы то ни стало попасть на выступление. Выход был найден. Сестра рассказывала потом, что поехала в Политехнический задолго до выступления, тайком проникла в зал и спряталась на галерке. Когда Василий Дмитриевич вышел на сцену, он первым делом начал внимательно осматривать зал. Потом перевел взгляд на галерку. Тогда жене поэта пришлось сползти с кресла на пол и встать на колени. Над барьером галерки остались только ее глаза. Так и простояла она все выступление на коленях к удивлению сидящих рядом студентов.

Не всегда все обходилось благополучно. В 1978 году было юбилейное выступление Василия Дмитриевича в концертном зале студии в Останкине. Дома Василий Дмитриевич всех родственников предупредил, чтобы в студию никто «не совал носа». Исключение было сделано только для сына Игоря, который должен был отвезти его туда на машине.

Когда поэт уехал, сестре позвонила знакомая поэтесса и попросила помочь ей попасть в студию на выступление.

— Мне и самой там быть не велено,— сказала сестра.

Тогда поэтесса делает заманчивое предложение: у нее есть три замечательных парика, два черных и один белый: один для жены поэта, другой для его сестры Тони, а третий — для самой изобретательной поэтессы. Предложение было принято.

В зрительном зале они рассредоточились по разным рядам. Блондинка Лара села в шестом ряду и спряталась за спиной могучего военного. В завершение маскировки она надела черные очки. Все это вроде бы давало полную гарантию неузнаваемости...

Когда Василий Дмитриевич приехал домой, жена с невинным видом подошла его поздравить и спросила, как прошло выступление. Василий Дмитриевич пристально на нее посмотрел, протянул огромный букет цветов и сказал:

— А вот этот букет я хотел еще в зале отдать тому белому чудовищу, которое сидело в шестом ряду и чуть не сорвало мне выступление!

После этого случая сестра на выступления мужа больше не ходила.

У поэта было особое отношение к письменным столам. Он терпеть не мог современных тонконогих и, большей частью, неудобных письменных столов. Поэт называл их не иначе как «фанерованные верстаки». В его московской квартире стоял добротный старинный стол-бюро бывшего адвоката, купленный после его кончины. Над рабочей поверхностью этого бюро возвышалась целая галерея разнообразных ящичков, ячеек и отделений, в которых поэт хранил заметки, письма и даже лекарства.

Когда Федоровы переехали на дачу в Мичуринце под Москвой, вновь возникла мысль о письменном столе. О покупке нового в мебельном магазине поэт и слышать не хотел. Ему нужен был какой-то необыкновенный старинный стол с кра-

сивыми точеными ногами и множеством ящичков и полочек. Целую неделю ездил Василий Дмитриевич по комиссионным магазинам в поисках этого необыкновенного стола. Лариса Федоровна начала браниться:

— Сколько можно мотаться по Москве? Ты уже, наверно, на такси целый гарнитур проездил!

Наконец, однажды вечером поэт, приехав домой, воскликнул: «Поздравь меня!»

Это означало, что он нашел что искал. Утром следующего дня собрались ехать за столом, но тут выяснилось, что Василий Дмитриевич забыл, в каком магазине он его купил. Жена с трудом по квитанции разыскала магазин, и Василий Дмитриевич поехал отвозить стол на дачу. Вечером он позвонил мне, попросил приехать к ним в Мичуринец и помочь «поставить стол на ноги». На мой недоуменный вопрос, что значит «поставить стол на ноги», он ответил:

— Понимаешь, какое дело. Стол, можно сказать, уникальный, только не совсем в порядке. Его нужно немного подремонтировать.

На мой вопрос, что ремонтировать, он объяснил:

— Ну, во-первых, ноги. У него две рассохлись, а одна отломана совсем. Ее нужно тоже склеить и привинтить. Потом еще ящики не все выдвигаются. Хуже всего с пластиной верха. Самому мне не справиться, приглашу краснодеревщика.

— Сколько же ты заплатил за такую развалину? — не удержался я от вопроса.

— Да не в деньгах счастье, — философски ответил поэт, — когда мы его отремонтируем, ты увидишь, какое это будет великолепие! В общем, приезжай, сам все увидишь!

В следующую субботу я поехал в Мичуринец. Когда сестра ввела меня в комнату, где находился стол, я с удивлением увидел странное двухтумбовое сооружение, которое стояло на трех рассохшихся ногах. Четвертая нога этого монстра валялась на полу, а ее роль выполнял фанерный ящик.



На хуторе Гаврилов. Справа: племянница В. Д. Федорова — Н. П. Гудкова. 70-е гг.

Верх стола был когда-то отделан зеленым сукном, но прежние владельцы оставили на нем столько следов, что от них в глазах рябило...

— Ну и ну! — невольно вырвалось у меня.

— А что? Правда, оригинальный стол? — каким-то неуверенным голосом спросил Василий Дмитриевич.

— Да уж оригинальней некуда, — сердито встала жена поэта.

Я понял, что счастливому владельцу стола нужна моральная поддержка.

— Ты напрасно иронизируешь, Лара, — начал я, — стол действительно необыкновенный. Я такого никогда не видел. Эта выемка в средней части стола и эти выступающие по бокам тумбы — он рассчитан на длительную серьезную работу.

— Да уж не вывалишься, даже если уснешь, — вела свою линию Лариса Федоровна.

Трудились мы над столом почти месяц. Постепенно он приобретал вполне приличный вид, и я начал понимать, что Василий Дмитриевич в выборе стола не ошибся. Просто он сразу увидел в нем то, чего не заметили мы, — совершенство форм и удобство для работы.

Во время работы над столом Василий Дмитриевич раскрылся для меня в новом качестве. Он с таким усердием строгал, шлифовал и клеил, что я подумал, а не пропал ли в нем дар краснодеревщика. Наконец была приклеена последняя рейка, и скептик-жена признала свои заблуждения.

На столе тут же накрыли праздничный ужин. Василий Дмитриевич сказал:

— А знаете, мне жаль, что ремонт стола закончился. Ведь теперь он будет ждать, когда я за него сяду. А мне хочется еще что-нибудь поделать руками.

Тут я ему сказал о пропавшем в нем краснодеревщике, и он ответил, что сам не раз об этом думал. А потом добавил:

— Если бы я остался работать на заводе, я бы, наверно, стал рационализатором или даже изобретателем.

Когда Василий Дмитриевич дарил мне «Женитьбу Дон-Жуана», то сделал такую надпись: «Заслуженному изобретателю в технике, Александру Федоровичу, от «попытчика изобретать в поэзии».

Писать стихи за новым столом в Мичуринце Василию Дмитриевичу было не суждено. Через две недели после окончания ремонта он уехал в санаторий в Ессентуки и там скончался от сердечного приступа. Перед отъездом в Ессентуки у Василия Дмитриевича было какое-то мрачное предчувствие. Врачи заранее запрещали ему лет-

ною поездку в Сибирь, а без Сибири, без свидания с Марьевкой поэт не мыслил своего отдыха.

В памятный вечер перед отъездом мы, родственники, собрались у Федоровых. Сидели за столом, разговаривали. Василия Дмитриевича дома не было, он ушел гулять. Через некоторое время он вернулся, вошел к нам и сказал:

— Вы тут сидите, чай распиваете, а я, пока гулял, вот такие стихи сочинил:

*Я уже не с вами,  
Я уже не тут.  
Я в садах, где птицы  
Райские поют.*

Нам стало как-то не по себе, а сестра сказала:

— Чего это тебе такая чепуха в голову пришла?

— Откуда я знаю,— ответил поэт,— вот пришла и все.— И ушел в свой кабинет.

На следующее утро он уехал, а через три дня его не стало.

Дек. 1984 г., г. Лыткарино



*Сергей Воронин*

## НЕВОЗВРАТНОЕ



*На VI съезде писателей СССР. Слева направо: С. А. Воронин, В. Д. Федоров, А. С. Иванов, М. С. Бубеннов, В. И. Фирсов, 1976 г*

Впервые я увидел Василия Федорова в 1960 году в Доме имени Владимира Маяковского, где он читал главы из своей поэмы «Седьмое небо». Народу было немного, но все же гостиная была заполнена — пришли истинные любители поэзии. Слушали с тем глубоким вниманием и радостным удовлетворением, которые возникают только при встрече с большим талантом.

Читал Василий Федоров без аффектации, удивительно искренне, донося каждое слово до слушателей, словно бы подавая на ладони. Он даже и не читал, а как бы рассказывал и с сожалением, и грустью, и с нежностью о неразделенной юношеской любви, о той роковой застенчивости, которая приносит страдание и горечь от упущенного и невозвратимого, о дружбе, во имя которой можешь отказаться от самого дорогого.

*Я мучился,  
Любовью раненный,  
Себя сжигая на огне.  
Друг подходил к душе Марьяниной.  
А я топтался в стороне.*

Чем дальше он читал, тем как бы больше вырастал в наших глазах. И так-то высокий, он становился еще выше, и этот его ниспадающий на лоб тяжелого золота чуб, и время от времени вспыхивающий огонь в глазах. Все воедино сливалось с его стихами. И все было прекрасно!

*— О, сын Земли,  
Мы судим чистотой!  
О, сын Земли,  
Мы судим красотой!*

Было обсуждение. Помнится, выступала Мария Ивановна Комиссарова. Очень тонко и точно говорила она о прослушанных главах и, что было особенно отрадно, благодарила поэта и за то, что он к нам в Ленинград приехал из Москвы, и за то, что познакомил с первыми главами своей замечательной поэмы. Пожалуй, первой поэмы, созвучной нашему космическому веку.

Когда уже расходились, я подошел к Василию Федорову и попросил у него стихи для «Невы». В то время я был главным редактором этого журнала.



Василий остро взглянул на меня и, после некоторого раздумья, сказал:

— Я могу дать одно стихотворение. Мне его вернули из «Известий».

— Оно с вами?

Он достал из кармана несколько листков. Стихотворение называлось «Хозяйка».

Я напечатал его. С тех пор у нас завязалась дружба.

Сблизило нас еще и то, что я люблю стихи не только читать, но и слушать. А Василий Федоров, в отличие от многих поэтов, да и прозаиков, любил слушать прозу. И я читал ему свои рассказы, из которых один во время чтения — «Только бы не было ветра...» — был посвящен ему. Он же мне посвятил стихотворение «Третьи петухи».

*Как же  
Перед нечистью  
Не сдаться,  
Не чертя  
Спасительных кругов?  
Как же мне,  
Не уступив,  
Дождаться  
Предрассветных  
Третьих петухов?*

Каждый раз, когда я приезжал в Москву, звонил ему, и мы встречались. Чаще у него дома. Лариса Федоровна готовила сибирские пельмени, мы пропускали по рюмочке, и начиналось чтение стихов и рассказов.

С ним всегда было хорошо. Чувства его были так же определены, как и мысли. С ним можно было спорить, но это совсем не значило, что его можно было переубедить. Принципы, особенно в творчестве, да и в отношении к жизни, были у него неколебимы.

Бывало, встречались мы в ЦДЛ (Центральный дом литераторов), и там читал он мне свои новые стихи.

— «Что Гамлет ей?» — вопрошал он, и его чуть отвислая нижняя губа придавала ему величавость и особую красоту.

Мы могли сидеть до закрытия, не замечая времени. И нам хватало о чем говорить. Но все же больше — читать друг другу и слушать друг друга.

Как-то приехал в Москву и не застал его в городе. Узнал, что у него есть дача на каком-то хуторе Гаврилов в окрестностях Москвы и что он там.

В наш технический век расстояние — не проблема. Я взял такси, и мы с дочерью поехали на хутор Гаврилов. Я полагал, что этот хутор что-то вроде острова среди полей и мне ничего не стоит найти его. Но не тут-то было!

Хутор Гаврилов — название маленького поселка. Домиков на десять. И как в большинстве пригородных поселков, скученные дома, какие-то тупиковые проулки-закоулки. А тут к тому же еще осенний темный вечер. И морозящий дождь. Бесприютная картина. Нам пришлось немало поколесить по задворкам, пока наконец-то мы добрались к дому поэта, да и то не с той стороны подъехали.

Чтобы не лишиться машины — а вдруг Василия дома нет, и тогда мы застрянем на этом хуторе? — мы стали кричать в два голоса: «Ва-ся!... Ва-ся! Фе-до-ров!»

В поселке было тихо, и наши голоса звучали звучно и слаженно. Они разносились во все стороны. Так что уже начали где-то хлопать двери. Но не те, которые нам были нужны.

Наконец открылась дверь федоровской дачи, и в освещенном проеме показалась мужская фигура.

— Ва-ся! Ва-ся!

— Кто там? — это был его голос.



*По дороге на поле Куликово. В центре — В. Д. Федоров.*

— Вася, это я! Я! Сергей!

— Сергей?

— Я.

Теперь машину было можно отпустить, и мы побрели на освещенную дверь, силуэтом на которой вырисовывался Василий Федоров.

Нет, никакого питья на этот раз не было, хотя я и прихватил из столицы бутылку. И не потому не было, что Василий был в поэтической форме и не хотел этого. Нет, поэтической формы не было. Было совершенно иное, чего я никак не мог предполагать, и что было совершенно естественно для крестьянского сына в детстве и для рабочего парня в юности. Он реставрировал филенчатую, с разными выкрутасами навесную дверь для своего кабинета.

Сказать, чтобы он был особенно рад нашему появлению, не могу. Видимо, находился в том

состоянии, когда хочется побыть одному, особенно после шумной и напряженной городской суеты. Но не было и того недовольства, которое ясно читается в таких случаях на лице, особенно такого искреннего человека, каким являлся Василий Федоров.

Постепенно он потеплел ко мне, оживился, стал рассказывать о даче. Оказалось, он где-то достал ее, старую, местами порушенную, но в прошлом очень красивую, возможно, из какого-то особняка. И вот занялся ею.

Пили чай, говорили о многом. Чем-то растроженный, Василий рассказывал о своем деревенском детстве, о родной деревне Марьевке, не забывая о ней в своих стихах. Кстати, и в стихотворении «Хозяйка» — «Свет-Марьевка...» — чувствовалось, что этот дом на хуторе Гаврилов ему чужд и что совсем иное его влечет.

Так оно и оказалось. Прошло время, и я узнал, что он был у себя на родине и решил там строить дом. В большом письме ко мне он рассказывал о встрече с земляками, о том, какое нашел место для дома: высокое, с хорошим обзором, и что настроение у него отличное, и что все хорошо.

И потом уже каждое лето он уезжал в Марьевку. Было: кто-то залез в его дом, и это его сильно огорчило, и дело не в пропавших вещах, а в том, что обидели его душу, истосковавшуюся по родной деревне.

Месяца за четыре до его кончины я был у него в гостях на Кутузовском проспекте. Он читал свои новые стихи. Были они, как все у него, прекрасны!.. И в голову не приходило, что вижу его в последний раз.

Письмо Василия о строящемся доме в Марьевке я сохранил. Вот его содержание:

*Дорогой Сережа!*

*Только теперь я понял, что поэт, будь он даже семи пядей во лбу, существо ущербное с точки*

зрения здравого смысла. Любой захудалый прозаик, получив твое приглашение приехать к тебе на дачу, воспользовался бы этим. Ловил бы он с тобою рыбу, ел бы ее и в жареном и в пареном виде, успевал бы и поработать и выпить. А как поступил я, которого ты считаешь не самым легкомысленным из поэтов? Я отправил себя и Лару поездом за тридевять земель — в Марьевку, где, если тебе известно, мы уже три года строим и не можем достроить свой собственный дом. Как памятник моего легкомыслия, он становится видным еще в вагоне поезда, когда подъезжаешь к станции Яя (смотри последний том, последнюю страницу, последнюю строчку БСЭ), к той станции, где нам надлежало сходить и где нас ждал на своей машине мой старший брат Иван, отдыхающий с семьей в деревне.

Надо сразу же сказать, что в родных краях известность моего дома во сто крат превышает известность его хозяина. Здесь мое имя многим ничего не говорит, зато слава моего дома давно перешагнула за границы одного района и даже области. Этим он обязан не громадностью своих размеров, хоть и виден за двенадцать километров, не причудливостью своей архитектуры, а только печальной судьбой.

Он родился с пороками, как ребенок, зачатый во хмелю. Было это так. Несколько лет назад, вернувшись из Марьевки, в одной из статей, предназначенной для «Правды», я упомянул фамилию директора марьевского совхоза Салехова, человека, как я потом узнал, тщеславного и хвастливого. Три года тому назад, когда мы с Ларой приехали в Марьевку, он принял нас с распростертыми объятиями: возил по полям, потом прихватил парторга, жен и завез к реке, где мы варили уху, жарили карасей. Выпили мы не так много, но все же достаточно, чтобы душа поэта на родном берегу разнежилась, а голова размечталась. Расчувствовалась и Лара. Возвращались мы в деревню на за-

кате. На следующий день нам предстояло уезжать. Поднявшись на гору, я попросил остановить машину, чтобы с высоты взглянуть на озеро, что лежало внизу, на луга, еще освещенные солнцем, на речные выгибы, блестящие за лугами. Мы прошли по пустырю к обрыву горы, и когда из моей груди вырвалось что-то восторженное, Салехов сказал:

— Давайте мы Вам построим здесь дом?..

Из дальнейшего разговора я понял, что он собирается строить мне дом на совхозные деньги. Хотя я и поэт, но при всем этом сообразил, что делать этого нельзя.

— Нет, если строить дом, то на свои деньги.

— Хорошо, мы завтра прибросим, сколько будет стоить все, чтобы вы получили от меня ключи от дома и могли въехать.

Утром оказалось, что дом будет стоить за четыре тысячи. Я тут же отказался от такого дома. Увидев в окне конторы новый дом их, я спросил, сколько он стоил. Оказалось, что-то около двух тысяч.

— Вот мне такой и нужен.

На этом наш разговор закончился. В Москве я забыл о нем, как вдруг получаю телеграмму: «Высылайте три тысячи на дом». В то время я получил хороший гонорар за «Седьмое небо» и жил под знаком Поэзии. Когда дело дошло до денег, Лара стала более сдержанной. В ней заговорило благоразумие прозаика, против которого у меня был лишь один лирический мотив:

— Лара, а место-то какое!..

Место, действительно, красивое само по себе, но еще в некотором роде историческое. Когда марьевцы построились над озером, они оставили этот край горы для церкви, но за долгие годы принаоровились обходиться без нее, благо, что в соседней деревне стояла хорошая церковка, в которой можно было крестить детей за умеренную плату. Когда религиозный дух из марьев-

цев окончательно выветрился, на том месте разрешили постройться Назару, другу моего дедя Харитона, описанных в моей «Золотой жиле». Помнишь: «Харитон, поднявшийся высоко, и в плечах раздавшийся Назар». Мне-таки удалось внушить Ларе, что такое место упускать нельзя. Больше того, она сама пошла на почту и перевела деньги.

Начались ожидания того момента, когда мы получим телеграмму: «Дом готов. Милости просим!» Однако время шло, а такой телеграммы к нам не летело. Стали доходить тревожные вести. Нет, сначала обнадеживающие. Куплен сруб, перевезен и поставлен на горе. И все снова замолкло. На мои письма директору, двоюродной сестре никто не реагировал. А в это время на Назаркиной горе происходили веселые шашаи строительной бригады, подряженной директором. Бригадиром оказался родственник мужа сестры, прозванный в миру Чапаем. Этот боевой товарищ, заполучив из общей моей суммы денег больше половины, начал гулять, торговать материалами, а когда деньги вышли — уехал к дочери в соседнюю Томскую область. Вот почему и директор и двоюродная сестра молчали. Однажды сын Гера поехал в командировку в Кемерово, я ему наказал заехать в Новосибирск к братишке моему и с ним съездить в Марьевку. Они съездили. Сруб, действительно, стоял на горе. В срубе валялись пустые бутылки и консервные банки. Мои уполномоченные прибавили к ним свою тару и уехали — Кешка домой в Новосибирск, Гера — в Москву. С этого времени и пошла о моем доме слава. Домом заинтересовались в районе и в области. Поскольку я к ним не обращался, то и они не хотели вмешиваться. Заедут, посмотрят, вероятно, пожмут плечами, и все. Поехал, наконец, я. Было очень рано, и, чтоб не сидеть на станции, отправился пешком. Не знал я, что гравийная дорога к Марьевке и дальше еще не достроена. Пришлось с нее пере-

ходить на старую, а со старой олять на гравийную. С чемоданом в руках я пробрел около четырех часов. Солнце поднялось уже высоко. Меня обгоняли машины, которыми я не захотел воспользоваться. И конечно, меня узнали, сообщили директору, который быстренько куда-то смотался. Пришел я к озеру, посмотрел снизу на сруб и остался доволен. Сруб как сруб, бревна крепкие, хорошие. Выкупался, поговорил с озером: «Ви-дишь, я сначала пришел к тебе. Вон мой будущий дом, но главное не он, а ты. Мне давно хотелось поближе к тебе». Потом я поднялся на гору, по-дошел к дому и присел на бревнышко. Было уди-вительно жарко, но здесь от озера и реки тянуло прохладой. Бревна сруба по-настоящему хороши, но подогнаны грубо, кое-как. Стало обидно за бревна. Для того ли росли чудесные сосны, чтобы по капризу чудака-писателя попали в плохие руки. Сруб сидел в какой-то ямке, из его щелей трепа-лась реденькая пакля, зияли большие щели. Теперь стало грустно за себя. Неужели за эти годы я совсем утратил здравый смысл, мужицкое чувство хозяина? Что это, от легкости жизни? Да нет, похвастать легкостью жизни я не мог. Тогда что же? Почему же в четырнадцать лет меня в де-ревне знали и уже уважали за смекалку, а теперь, когда мне пятьдесят, деревенские смеются над моей нерасчетливостью? Смеются и растаскивают мои доски и бревна. Наверно, они думают, что у меня очень много денег, что они достаются мне легко, не так, как доставались когда-то в деревне. Да нет же, за хорошую строчку я нарубил бы де-сятки возов дров, накосил бы стог сена. Только бы знать, что моя строка может стать рядом с пушкинской. Я-то знаю, что деньги мне достаются тоже трудно, но все-таки я почему-то отношусь к ним не так, как относился в мужичестве. Так я размышлял, глядя на озеро, на луга, на береговые скулы реки. И чем я больше глядел, тем спокойнее становилось на душе. Платил я не за дом, а за то,



что в понятии мужика сегодня еще не имеет цены: за разговор с озером, за взгляд на луга и на реку, за минуту очарования красотой. Потом, завтра же, они сами придут на гору и увидят то же, что увидел я. У них даже шевельнется зависть, что самое красивое место в деревне захватил я. Так бывает с женщинами, не знающими себе цены. Ходят среди всех, за собой не следят, к ним потому как-то и не присматриваются. Но вот заметил один, да не какой-нибудь дурачок, а умный и видный, женщина взглянула на себя тоже, а взглянув, расправила плечи... И вот уже все стали замечать, что баба-то, глядите, красивая!.. Так вот, директор оказался в бегах, бригадир строителей тоже в бегах, а я прихожу на гору, сажусь на бревнышко и гляжу с обрыва. Просто решил на-смотреть на три тысячи рублей, махнуть рукой и уехать. Но тут мне попался директор.

Описывать эту встречу с ним мне как-то не хочется. Началось верчение хвостом и беготня глазами. Но все-таки, уезжая, я принял участие в заливке фундамента. Уезжая, я увидел, что дом вылез из ямки и приподнялся. Оказывается, мой подрядчик в мое утешение прислал к кому-то строительную бригаду совхоза.

— Расплатиться с ними у меня еще есть,— сказал директор,— а с Чапая мы возьмем, непременно возьмем, вот надо только распланировать, как и что.

Уезжая, я распланировал. Нынче убедился, что распланировал я его неплохо. Сруб был куплен случайный. Пришлось городить клетушки, но они оказались наиболее рациональными. Сейчас я тебе эту планировку нарисую. (Рисунок.— С. В.). По этой планировке ты поймешь, какая бездна затрат открылась из-за многих перегородок, дверей и окон, которые сразу же пришлось переделывать. Где-то я надеялся, что, приплатив рублей пятьсот, я все же получу дом, но через полгода все снова затихло, а через год получаю письмо,

что директор уезжает, дом стоит недостроенный, что деньги все израсходованы. Вскоре отозвался и сам директор, приславший перечень расходов на сумму более четырех тысяч и заверений, что осталось достраивать совсем немного.

Через некоторое время получаю письмо из районного суда, который спрашивает меня, не хочу ли я принять участие в суде, вернее взять на себя иск к «Чапаю». Конечно, я отказался и сел за изучение письма директора с перечнем расходов. Оказалось, что только шифер на крышу «съел» у меня более трехсот рублей, только русская печка взяла более десяти тысяч кирпичей и т. д. и т. п.

Был я в Марьевке еще раз. Посмотрел, пересчитал сам и добился того, что расходов насчитали менее чем на три тысячи. Поскольку деньги мои были уже все израсходованы, то дом строился на совхозные строительные отходы, сочтенные по двойным ценам. А уезжал директор потому, что однажды в пьяном виде полез на чужую бабу. Да и чью? И в этом мне не повезло. Бедняга полез на жену того строительного бригадира, которого послал к моему дому. И выпили-то, кажется, по поводу окончания каких-то в нем работ — не то настила полов, не то укладки десятитысячного кирпича в русскую скромную печь. Слава о моем доме пошла кругами. Сначала районный суд рассуживал директора с Чапаем, потом этот случай. Вот почему, когда я пришел к секретарю райкома поговорить о своих делах, на меня уже смотрели как на организатора беспорядков, как на виновника падения нравственности. Но все же мне удалось заключить договор со стройконторой на достройку дома. Я должен был уплатить рублей шестьсот в придачу к прежним расходам, которые давно вышли за первоначально очерченные границы. Стройучасток должен был подготовить дом к жилью к середине мая этого года.

Сереженька! Что-то мне стало скучно писать. Я еще дважды ездил в Марьевку. Мне начали

содействовать райком, обком партии, но чем больше мне содействовали, тем неподвижней было на моей исторической Назаркиной горе. Все же в середине июня, когда ты прислал свое первое приглашение, мы поехали в Марьевку с Ларой. Нас встретил, как я уже написал, мой брат. На пути в Марьевку он сообщил, что первый бригадир моей стройки Чапай сгорел.

— Как сгорел?! — удивился я. — От водки?

— Нет, буквально. Он работал последнее время на нефтебазе, что-то случилось, и он сгорел.

Боже, мой дом становился роковым домом! Наступила пора возмездия для тех, кто играл его судьбой. Тут-то и вспомнили, что гора была посвящена богу, а вспомнив, покачали головой. Поздней, когда над совхозом разразился десятидневный ливень, я, захмелевший по какому-то случаю, оправдывался перед Ларой:

— Лара, поверь, я на них никому не жаловался. Им это наказание не из-за меня за какие-то другие грехи.

А жаловаться было можно.

Брат Иван, поселившийся у дальних родственников, подвез нас к нашему дому. Проезд к нему с улицы узкий с наклоном под гору. Он очень боялся соскользнуть вниз и перевернуться. Лара не знала, что ей делать: глядеть ли на дом, едва видный за высокой лебедой и полынью, или судорожно держаться за машину. В этот момент мы и въехали на гору. Мы знали, что в доме хуже, чем в сарае, но решили все же остановиться в нем. Он был уже под крышей. На первый раз этого могло хватить. Свету в нем еще не было, но мы привезли все свечи, которые были мне подарены в мой пятидесятилетний юбилей. На них мы поначалу и рассчитывали. Но когда вошли мы в дом, Лара растерялась. На полу валялись кирпичи и осколки кирпичей, черный потолок из толстых плах был грязный, доски перегородок — тоже, печь недоложенная, но ее уже можно было то-

пить. Возможно, Лара на другой-третий день и уехала бы, если бы ей не захотелось увидеть пол чистым. Подошла моя двоюродная сестра, и они начали вывозить из дому грязь. Пол оказался хорошим. Ее это ободрило. К вечеру она домыла последнюю клетушку, и мы решили, что жить пока что можно. Больше того, решили свою жизнь начать с приема родственников и соседей. Одним словом: мы прожили в Марьевке около двух месяцев, писать о которых в данный момент я уже не могу. Мои нравственные силы израсходованы. Надеюсь, что теперь ты понял, почему мы не приняли твоего приглашения и почему не сумели ответить на него даже короткой запиской. Все я порывался сесть за письмо, все я хотел подробно описать нашу жизнь в Марьевке, но не мог. Может быть, мне как-нибудь захочется продолжить свой скучный рассказ, тогда не обессудь. Надо же куда-то вытряхнуть весь мусор, накопившийся в душе. Для этого друг — самое подходящее место. Если бы я оправдывался короткой запиской, что-де был в деревне, что не мог и прочее, ты бы, наверно, не поверил. А сейчас поверишь. Лара, которая тебе и Мане кланяется, при случае может подтвердить все, что я настукал тебе в отчаянье. Поклон Мане и от меня.

1970 г.

Ваш Вас. Федоров

Хутор Гаврилов

---

Александр Ливанов

ПРИТЧА О ВСТРЕЧНОМ



1950 или 1951 гг.

Кто сказал, что красота — одной лишь молодости присуща?

Первое, что пришло мне в голову, едва я его увидел далеко впереди идущим навстречу (а сколько лет я его не видел? пятнадцать? двадцать?.. Постарел он, постарел — а все одно: красив!), — была мысль об этом. Про особую красоту

старости. Главное, она сохранила то, что всегда мне нравилось в его лице: странную смесь спокойной силы и растроганной, извиняющейся совестливости. И который раз мне явлена она, красота старости, причем здесь так убедительно, наглядно, не как-нибудь вообще — в знакомом талантливом поэте! Когда-то учились вместе в Литературном институте, а потом разбрелись кто куда: одни в известность, другие в безвестность, третьи в ожидание-обещание...

Встречаемся редко, все так вот, случайно.

А он, поэт Василий Федоров, шел мне навстречу по Красноармейской, приятно и ненавязчиво приглядываясь к встречным, наслаждаясь минутами прогулки на бодрящем, весеннем воздухе. Я знал, что он живет на Кутузовском. Там его ждет письменный стол, на котором все ему знакомо, изучено за много лет труда, все до каждой мелочи и сейчас перед глазами — от резного стаканчика для ручек и карандашей, подаренного ему болгарскими друзьями, до фээргешной «Эрики».

Но заметит ли он меня? Узнает ли? Остановится? Если пройдет — ничуть не обижусь.

Он меня и заметил, и узнал, и остановился. «А на виске две жилки бьются, две жилки бьются, любовь кричит: как поступить? Переступить — или вернуться? Переступить — или вернуться? И решено — переступить».

Это я, вопреки принятому, приветствовал поэта его же стихами. Давними, еще литинститутской юности.

Я, кажется, оторчил его своей цитацией. Он заговорил об этом с той мягкой укоризной, которая как бы заранее готова уступить возражению. После этих стихов он издал чуть ли не два десятка книг! «Неужели,— вопрошал он,— те строчки так и остались лучшими?»

Я поспешил его успокоить. Имя человек получает после рождения. А вот свой девиз, свой

строчечный герб, свой позывной, наконец, он получает, родившись поэтом...

— Вы так думаете? — поспокойнел он. — Что-то подобное и мне, признаться, на ум приходило.

А все же неловко. Словно укоряют: вот тогда — тогда ты был поэтом! А то, что книги пишутся и потом, — это как бы осуществление профессии...

Я заговорил о его поэме «Женитьба Дон-Жуана». Считал и считаю ее явлением в литературе, вещью долговременной. Да и смелостью обладать нужно, чтоб взяться за тему Байрона и Пушкина, Мольера и Шоу. А взявшись, решить по-своему, найти интересную, современную, не просто литературно и общественно принятую, а из нового опыта века, концепцию! Смелость здесь не из лихости — из зрелости поэта и личности, из художнического двуединства их! Сама задача — не литературно-заданная, а из культуры поэта...

— Я ведь там изобрел свои октавы! — прервал он меня. Но тут же и угас. — Э, ни октавы, ни концепцию никто не заметил.

— Но ведь я заметил! Когда всё сразу замечают — пиши пропало. Нет, стало быть, ресурса длительности!

Разумеется, всё это он знал не хуже меня. А я, говоря это, уточнял свое отношение и к прочитанному, и к нему самому. Нет, не было во мне и капли зависти! Я рад, что знал его, что знаю, что мы современники. И вот он предо мной — большой, красивый, ранимый. Любящий поэзию бескорыстно, без чего творчество лукаво и мертво...

Он стал спрашивать. Как здоровье? Как пишется (не спрашивал: как издается... Знал, не одно и то же)? Отчего меня не видать?..

Все было обиходным, как бы необязательным для ответа. Но последнее, чувствовалось в голосе, ждало ответа. Хотя мне это трудней всего было. Он, кажется, боялся обидеть меня ноткой жалости! Почему меня не видать?..

И я рассказал ему небольшую то ли быль, то

ли легенду. При желании это можно бы воспринять и как притчу. Одного старого русского писателя, нашего современника, хотя еще вместе с Горьким работавшего в дореволюционной литературе, к юбилею какому-то, то ли семьдесят, то ли семьдесят пять, представили к награде. Вручить награду поручили одному из секретарей Крымского райкома, по месту жительства писателя. Два дня искали старого писателя среди крымских гор, с ног или «с колес» сбились!.. Об этом, конечно, и сказано было в первую минуту встречи. «Чтоб хорошо прожить писательскую жизнь, писателю нужно уметь хорошо спрятаться», — заметил тут же на пороге дома хозяин. Гость натянуто улыбнулся, в словах он увидел какой-то свой, не понравившийся ему смысл. Может, сказалась усталость от долгих поисков, может, к тому же, не читал он книг старого писателя — о чем еще можно говорить с писателем, если не о его книгах, о литературе? — разговора не получилось. Даже задрванное вино выпили больше в молчанку...

— А вы умеете смотреть на солнце? — спросил старый писатель.

Он, оказывается, вовсе не тяготился молчанием гостя! Развёрстыми глазами, не щурясь, он смотрел на солнце, крымского, белого накала солнце. То ли зоркая неподвижность высокого и прямого хозяина, то ли большие седые брови, под стать таким же большим и седым усам, — что-то напоминало в писателе старого орла на скале. Неподвижного, погруженного в думу под плывущими над ним облаками.

Быль-легенда-притча понравилась поэту. Он даже как-то вскозь дернул головой от изумления. вскинул подбородок и сделал развёрстыми глаза. Точно тоже готовый не щурясь смотреть на солнце. Подумав, он сказал:

— О таких вещах писать надо. Пусть и на правах легенды. Это — духосозидающая история. А



вот насчет спрятаться, так есть у меня на земле такое местечко — деревенька моего детства Марьевка.

— Слышал о ней... А может, и читал. Если не ошибаюсь, то в поэзии Василия Федорова за последние годы она не раз упоминалась, и даже в одной из глав «Женитьбы Дон-Жуана»...

На мой шуточный тон он не отреагировал.

— Да, и в «Дон-Жуане» — тоже. Некоторые главы писались там — на Назаркиной горе, где я поставил себе обитель. Вот и сейчас: только ради поездки в Марьевку приходил в нашу писательскую поликлинику, чтобы получить курортную карту в Ессентуки... Не люблю я всяких исследований...

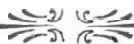
— Какая же связь? — удивился я.

— Самая прозаическая. Работая в годы войны на авиазаводах, я как-то не поберегся и получил отравление цинком. У меня язва желудка. Не подлечив ее минеральными водами, я не могу далеко и надолго отлучаться. Как бы там, в Марьевке, рецидив с язвой не произошел. Хирурги в райцентре, конечно, отличные, но стоит ли их обременять? Хватает им штопать лихих мотоциклов... Нет уж, я лучше подстрахуюсь...

Это была моя последняя с ним встреча. Он торопился домой собирать чемодан. Через несколько дней рано утром он улетел в Ессентуки, а девятнадцатого его не стало. словно подслушав наш разговор насчет желания «спрятаться» от суеты, судьба взмахнула над ним своей палочкой.

Марьевка! Маленькая клеточка в огромном Кузбассе — точка отсчета всех жизненных измерений поэта Василия Федорова. Как жаль, что я из-за своей болезни никогда ее не увижу.

1985 г., Москва



*Михаил Шевченко*

**БОЛЬ ЧЕЛОВЕКА БЫЛА ЕГО БОЛЮ**



1976 г. Слева направо: В. Д. Федоров, М. П. Шевченко,  
В. С. Сидорин.

Сокурсники мои уходили из института дипломированными, я остался без диплома. Еще на третьем курсе я почувствовал себя плохо, часто болел. Врачи советовали **взять академический отпуск**: нашли сильное переутомление, сказались голодные и холодные годы войны, а тут еще я **переусердствовал в занятиях**. Приехав в Москву отличником педучилища, я в первые же недели

понял, что знаю страшно мало. Давила библиотека Литинститута: что ни книга — не читал, не читал... И я стал читать, что называется, день и ночь. Я понял также, что так писать, как я писал до института, — нельзя. Но как писать — я не знал. Улавливал лишь, что первые удачные стихи — уже в институте — рождались из автобиографического материала.

В тяжелых раздумьях дотянул-таки я до пятого курса, успешно сдал государственные экзамены, а защиту диплома отложил на год. Настроенное было, конечно, скверное. Усугублялось оно и тем, что некоторые сокурсники глядели на меня свысока...

Поехал я в Россошь к родителям. Им такой мой приезд не доставил большой радости. Жил я дома, вглядывался новыми — после столицы — глазами в окружающую жизнь. Да, так писать, как я писал, да и как пишут многие другие, нельзя, думал я сокрушенно. Как-то поехал в родную слободу в Придонье. И довелось мне там смотреть кинофильм о колхозной деревне. Зал был полон людей, тех, которые от зари до зари работали на полях. По замыслу авторов, колхозники должны были узнавать себя в звездных кавалерах — героях экрана. Но люди не узнавали себя. Они вообще не воспринимали кинофильм и ох какие крепкие слова посылали по адресу создателей фильма и во время сеанса, и особенно после него...

Нет, так писать нельзя. А как? Я искал ответа в чтении, в мучительных беседах, в спорах с друзьями.

Через год приехал в Москву взять справку об окончании теоретического курса института, чтобы поступить куда-нибудь работать.

Выходя со справкой из института, встретил на пороге Василия Федорова. Он, шагнув было на встречу, отступил, дал мне выйти и пошел со мной по двору.

— Что ты какой-то?.. — он прервал свой во-

прос, прикуривая беломорину, похудевший, в потертом костюме, в стареньком галстуке. Лацканы пиджака были чуть присыпаны пеплом. Уже проступала и седина, как пепел. Мы с Василием не были близки в институте. Он был старше меня на десять с лишним лет по годам и на три курса — по институту. Не знаю, почему, он как-то после институтского капустника, в котором я аккомпанировал на рояле одной студентке, подошел ко мне и спросил:

— Учился где?

— Нет, сам.

— А сибирское что играешь?

Я взял тему «Славного моря...»

— Гм... — улыбнулся он открыто. — А еще что?

Я сыграл знаменитую песню о бродяге в диких степях Забайкалья. Василий молча посмотрел на меня и ушел.

С тех пор мы стали здороваться. Иногда он, медленно проходя по коридору, приостанавливался, прямой, в расстегнутом пиджаке, и между нами происходил ничего не значащий разговор: «Как жив-здоров?.. Ничего?.. Ну, пока...» Но мне дорого было его даже такое внимание. Он уже был выпускник, сталинский стипендиат, изредка печатался. Его стихами открывался сборник литинститутских поэтов «Родному комсомолу». Стихи эти, как мне и теперь кажется, обнажают его существо.

*Когда,  
Порог переступая,  
Мы шли к нелегкому труду,—  
Морщинка, черточка любая  
Была в ту пору на виду.  
Деталь строгалась,  
Шлифовалась,  
Пока на ней в конце концов,  
Как в зеркале, не отражалось  
Ее создателя лицо...*

Да, он отражался в своих стихах. Менялся с годами, изменялись и стихи, но отражение его на них не исчезало всю жизнь.

— Так что с тобой? — торопил он мой ответ.

Убитым голосом я рассказал ему о своем положении.

— Да, это не на много лучше, чем было у меня... — выдохнул он беломоровский дым и добавил: — У меня и сейчас... Из стихов ничего не могу напечатать... Семья... — Снова глубокая затыжка и выдох: — Надо бросать стихи, они не кормят... Кой-как живу очерками... Надо переходить на прозу...

Он торопливо докурил папиросу, отбросил окурки к ограде сквера и простился.

Что значит: не намного лучше, чем у меня? Я не знал и до сих пор не знаю всей подоплеки дела, но на пятом курсе у Василия Дмитриевича произошло какое-то столкновение с Василием Смирновым, заведующим кафедрой творчества, и тот дипломную работу Федорова отдал на отзыв знаменитому поэту-лауреату Z., у которого был иной жизненный опыт, чем у Василия Дмитриевича, писал он совсем в иной поэтической манере. Федоров шел от русской классики, Z. — от Маяковского. Как, видимо, и ожидалось, поэт Z. дал уничтожающий отзыв о федоровской дипломной работе. На защите диплома дошло до того, что заговорили о перенесении защиты.

Тогда ринулись на помощь Борис Бедный и Владимир Солоухин. Борис Бедный, который в скором времени сам должен был защищаться, был уже автором прекрасного рассказа «Комары», отмеченного в «Литературке» маститым Николаем Погодиным. А Солоухин уже опубликовал стихи о встрече Ленина и Уэллса «Это было в двадцатом...», стихи о засухе в степи, «Колодец»... Студенты, по-солоухински окая, читали друг другу отточенные строки:

*О, если б дождем  
Мне пролиться на жито,  
Я жизнь не считал бы  
Бесцельно прожитой...*

И вот животворящим дождем для федоровск (и нивы стали их выступления. Они отстояли его диплом, хотя оценен он был все же тройкой.

С тех пор прошло более двух лет, а трудности — все еще не позади. «Надо бросать стихи, они не кормят...».

Я уехал в Воронеж в надежде найти работу. Тщетно. В редакциях газет, в издательстве, на радио места не нашлось. Тогда я поехал в Тамбов, где, будучи на третьем курсе, проходил творческую практику в областной газете. После некоторых проволочек меня взяли литсотрудником в отдел информации «Тамбовской правды». Началась беспокойная жизнь газетчика. Я писал информации и зарисовки, рецензии и критические корреспонденции, обзоры писем и фельетоны.

Написал несколько рассказов — не напечатали. Послал один крупному прозаику, с которым встретился перед отъездом из Москвы. Он ответил что-то невнятное. Он сам не был готов к большим переменам — наступал 1956 год.

Оставил я прозу; потихоньку пошли стихи. В Тамбове были открыты писательская организация, книжное издательство. Вскоре стал работать в издательстве редактором художественной литературы. Тут у меня, кроме друзей, появились враги. Ведь большая часть работы редактора — это возврат слабых рукописей авторам. И однажды средней руки газетчик бросил мне в лицо: «А что ты сам?.. У тебя даже диплома нету!» Будто пощечину влепил. Я ничего не ответил. Дома просмотрел рукопись сборника стихов. Его можно было защитить диплом. Но лучше — изданной книжкой.

Когда мой сборник — «Любовь» — вышел,



*В. Д. Федоров и В. А. Солоухин в кулуарах V съезда писателей СССР, 1971 г.*

один из авторских экземпляров (после сомнений: помнит ли меня? — со времени последней встречи прошло шесть лет) я послал Василию Федорову. Ответа долго не было. Знакомая девушка в почтовом окне «До востребования» отвечала, смеясь: «Пишут...»

Я уже не ждал ответа, когда он пришел.

*«Дорогой Михаил Шевченко!*

*Спасибо за книгу. Она долго путешествовала, прежде чем попасть ко мне. Вы послали ее по старому адресу. Спасибо и за посвящение. Не знаю, писали Вам или нет из военного журнала, которому я рекомендовал Ваши стихи о Лермонтове. Они мне понравились, но в «Мол. гвардии» было все забито. Очень хорошо, что у Вас сложилась эта книжица — плацдарм, который надо*

расширить и вести дальнейшее наступление. Чувствуется — можете. Мне нравятся «Руки отца». Эта линия в поэзии должна быть как ее основа, с которой можно совершать поэтические набеги куда угодно.

*Желаю всяческих успехов.*

Вас. Федоров.

3.X.61».

Перечитал письмо несколько раз. Легко можно представить, что значила для меня тогда такая весть. К тому времени Василий Федоров приобрел большую известность. Появились его поэмы «Золотая жила», «Проданная Венера», «Белая роща», «Бетховен»... Редко было, чтобы мы, молодые и горячие, сходявшись, не читали его афористичные стихи, крылато распространявшиеся среди читателей.

*Мы спорили о смысле красоты,  
И он сказал с наивностью младенца:  
— Я за искусство левое. А ты?  
— За левое... Но не левее сердца!*

Или:

*За красоту людей живущих,  
За красоту времен грядущих  
Мы заплатили красотой...*

Снова и снова перечитываю его письмо и не верю глазам своим. Он пишет: нравятся. Он пишет: рекомендовал. Он пишет: можете!..

Все — еду защищать диплом!

Пишу в институт. Отсылаю книжку стихов. Сообщаю, что в последние год-два в институте зачеты по творчеству мне ставил работавший там поэт.

Приезжаю в Москву на защиту. И что же?! Один из моих тамбовских «друзей», бывший литинститутец, уже «поработал» и в институте. Поэт N. отказался вести мою дипломную работу, — он меня-де не знает вовсе. Его друг критик написал



отрицательный отзыв на нее. Словом, защита была подготовлена к провалу.

Что делать? Вернуться в Тамбов и на сей раз без диплома?.. Растерянный, я бродил по Москве, не зная, как поступить, кому поведать печаль свою. Забрел в правление Союза писателей России, где работали мои товарищи по институту.

— Да что же он делает, N.! — зашумели они, узнав про мою беду.— Хорошая же книжка!

— Егор рассказывал, как Василий Федоров читал твои стихи о Лермонтове в Цедээл! Сидели за столом, и он наизусть!..

— Вот если бы позвонить Федорову, а? Кто может позвонить ему?.. Егор!

Тут же связались по телефону с Егором Исаевым, моим земляком и товарищем по институту. Он заведовал тогда редакцией поэзии в издательстве «Советский писатель». Через час я уже знал, что Егор дозвонился до Василия Дмитриевича, тот возмутился поступком N., обещал дать отзыв о дипломной книжке и прийти на защиту.

В тот же день Василий Дмитриевич написал в институт: «...меня привлекают... такие стихи, как «Мне двадцать пять...», «Я б не знал, что могу быть добрым...», «Руки отца», «Лермонтову». В этих стихах я нахожу высокое чувство ответственности молодого поэта перед людьми, перед поэзией. Хорошо сказано о руках отца.

*Долгом их было смологу:  
Прежде чем хлеба в охоту,—  
Штыком,  
И серпом,  
И молотом—  
Работать!  
Работать!*

В трех словах: «штыком, и серпом, и молотом» дано большое обобщение. В них есть нечто от нашего государственного герба. Хорошо и закан-

чивается стихотворение: «И выступают руки мои, на руки отца похожие». Безусловной удачей нужно считать стихотворение «Лермонтову». Хочется целиком процитировать это короткое, но выразительное стихотворение, отмеченное печатью непосредственности, простоты и законченности...»

В канун дня защиты я зашел в Центральный дом литераторов поужинать. Заглянул в бильярдную и увидел там Василия Дмитриевича. К той поре он увлекся бильярдом и часто игрывал. Довольно нервно переживал проигрыши и по-мальчишески шумно радовался выигрышам. В тот вечер в разгар игры к нему, пошатываясь, подошел поэт Z., который когда-то написал о Федорове отзыв. Василий Дмитриевич сдержанно поздоровался. Z. пригласил его в буфет. Василий Дмитриевич молча сделал несколько ударов и, не спеша, с кием в руке пошел вместе с Z. к столику. Увидел на столе коньячные стопки и с усмешкой сказал:

— Что? Победителю-ученику от побежденного учителя?..

— Вася,— сказал Z., протягивая к нему руку,— прости... Дела давно минувших... Давай... за все доброе между нами...

— Ладно-ладно,— отвечал Василий Дмитриевич.— Я вам тогда еще говорил: вы сделаете из меня гения!.. Спасибо, что вдохновил. Я поработал... Я ответил вам!..

— Да-да,— Z. хотел уйти от больной для него темы.

— Но тогда...— Василий Дмитриевич прищурился, будто всматриваясь в те далекие дни,— тогда вы как будто... переехали через меня!..

Разговор этот растрогал. Конечно же, и потому, что я был не уверен, сможет ли Василий Дмитриевич быть завтра на защите.

— Вот так всегда,— сказал он, подойдя ко мне,— встретимся — извинения...— И, словно почувствовав мое волнение, добавил: — Иди спать, все будет в порядке.

И правда, на следующий день среди членов государственной экзаменационной комиссии в конференц-зале Литинститута я увидел Василия Дмитриевича.

Когда меня объявили как защищающего диплом, Василий Дмитриевич вышел на трибуну первым.

— Здесь, — он сморщился и брезгливо опустил углы губ, — затеяна какая-то возня вокруг дипломной работы Михаила Шевченко. Не надо! Не надо умножать дурную славу института!.. В этом зале уже однажды не хотели давать диплом одному выпускнику. Сегодня он сам защищает молодого собрата по перу. А те, кто не давал, либо обегают меня, либо каются при каждой встрече... Наш институт выпускает всего-навсего литературных работников, а перед нами поэт. Я показал это в отзыве на его книгу. Поэт с опытом журналиста и издателя... Я — за диплом! Без всяких сомнений!

С трибуны Василий Дмитриевич сошел не в президиум, а в зал. Следом в поддержку выступил один преподаватель. Критик, узнав, что в защиту вмешался Василий Федоров, изменил свое «принципиальное» мнение и говорил что-то о моих возможностях в песнях, Мерзлякова припомнил... Ни одной песни за всю жизнь я не написал.

Дипломная работа моя была принята с оценкой «хорошо».

Я от души благодарил Василия Дмитриевича. А он тоже растрогался.

— Ну, вот... Справедливость восторжествовала. Как будто сам снова защищался...

Через семнадцать лет, в феврале 1978 года, я буду выступать в зале имени Чайковского на вечере, посвященном шестидесятилетию Василия Дмитриевича, и с благодарностью вспомню ту далекую защиту. Он обнимет меня и подпишет только что вышедшую юбилейную свою книгу «По главной сути».

«Мише Шевченко, с высоты своего шестидесятилетия, как младшему брату! Вас. Федоров. 28.II.78».

Прошло еще шесть лет... Судьба подарила мне множество встреч с Василием Дмитриевичем, когда я стал работать в правлении Союза писателей РСФСР, в секретариате его. Пожалуй, не было встречи, чтобы он за кого-нибудь не просил, о ком-нибудь не беспокоился. И живут «предметы» его беспокойства в Барнауле и Магадане, в Оренбурге и Петрозаводске, не говоря уж о родном его Кемерове. Он умел дружить. Был верен в дружбе. Где бы ни был он — на заседании ли секретариата правления Союза писателей, в дружеском ли застолье, при случайной короткой встрече — с Василием Дмитриевичем всегда было хорошо.

Сердце Василия Дмитриевича жило любовью к людям, ко всему доброму на земле. Он любил и пел свою Марьевку, Сибирь, Россию — всю страну. Он гордо и достойно нес звание поэта, чувствовал и понимал высокое его предназначение, взваливал на свои далеко не богатырские плечи непомерную тяжесть.

*Беря пророческую лиру,  
Одно он помнит из всего,  
Что все несовершенство мира  
Лежит на совести его.*

Да, не левее большого сердца его жили и радости, и боли людские. Не раз он, оказавшись в правлении, заходил ко мне и, взволнованный, читал новые стихи. Слушая, я хорошо представлял, как он писал их — зажженный, нетерпеливый. Публицист по натуре, он часто отвечал в стихах своим недругам. Как-то мы заговорили с ним о «покорителях природы», которые погубили многие хозяйственные культуры, потравили герби-

цидами обитателей полей. Он закурил, вышел на середину комнаты.

— Послушай, еще горяченькое...

И стал читать стихи о конопле, «грубо прогнанной с нивы, задичавшей по оврагам». Рука с папиросой в стороне... чуть прищурился... боль в голосе...

*Толчут,  
Давят,  
Не заботятся  
От великого ума.  
Сама сеется, молотится,  
Сберегается сама.*

*Нам укорствует  
В заботе,  
Дикий стебель наклоня..*

И как будто вместе с коноплей, словно подслушав ее, гневно выдыхает:

*Вы еще ко мне придете  
Культивировать меня.*

Смотрит: каково? И тут же:

— Послушай еще!

И уже слезы на глазах:

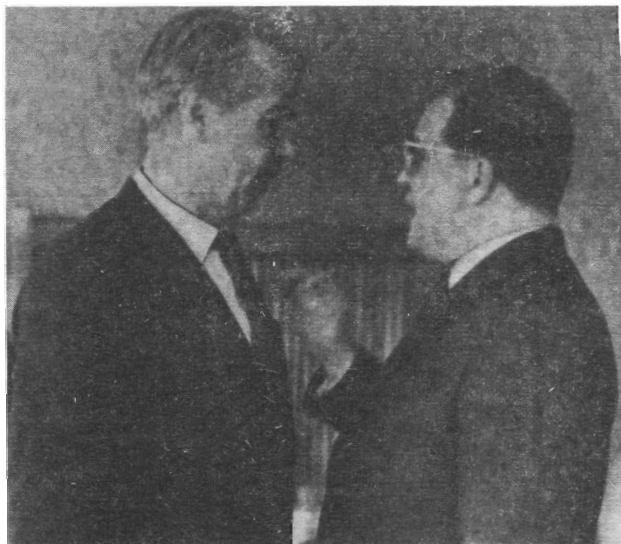
*Звери!  
Травы сминая,  
Не принес вам разора.  
Не пугайтесь, что знаю  
Ваши тайные норы.*

*Верю, надо бояться,  
Вижу, стало не легче,  
А трудней укрываться  
Вам от глаз человеческих.*

*В тихой  
Норке-квартире  
Ничего не нарушу,  
В этом горестном мире  
Берегу вас, как душу.*

Да, он берег свою душу от бронзы, от черствости. Потому-то она и была так ранима. Не забуду, как он, никогда не жалующийся на невзгоды, вдруг приостановил меня в коридоре правления, с вечной папиросой в руке, и с болью сказал:

— Знаешь, не ожидал. Никак не ожидал... В друзья ведь лез... Дали ему читать моего «Дон-Жуана». И что ты думаешь? Он такое нагородил на полях рукописи!.. Черт-те что!.. И главное — против публикации...



*В беседе с Ю. С. Мелентьевым. 70-е гг. (?).*

Замолчал.

— Кто это? — спросил я.

Он назвал Z. Да, того же Z.

Василий Федоров знал цену серьезным раздумьям. Он был по своему складу драматический поэт — одинаково большой и как лирик и как эпик. Он жил будущим, тревожился за него, старался приблизить его к будничным нашим желаниям.

Есть у Василия Федорова «Книга любви». Мне думается, Книгой Любви можно назвать всю его жизнь.

*Если спросят, что так мало жил я,  
Ты в своем ответе не таи  
То, что я страдания чужие  
Принимал все время, как свои.*

Это сказано не ради красного словца. Я убедился в этом на собственной судьбе.

Поэзия Василия Федорова живет не только в нынешнем дне, она составляет красоту времен грядущих.

1985—86, Москва



Виктор Баянов

А СЕРДЦЕ ВЕСЕЛОЕ МИРУ ОН НЕС...



Яя, июль 1972 г. Справа налево: В. Баянов, В. Федоров,  
Л. Пудалова.

В этих кратких и, возможно, сумбурных воспоминаниях о Василии Дмитриевиче Федорове я попытаюсь рассказать только о том, что мне особенно хорошо запомнилось и четко до сих пор.

Задолго до личного знакомства с Василием Дмитриевичем я уже хорошо знал его поэзию, не раз в кругу друзей, молодых поэтов, наизусть читал — а тогда мы часто это делали — его стихотворения, а главным образом полюбившиеся места из «Белой рожи», «Золотой жилы», «Проданной



Венеры», главы из «Седьмого неба», печатавшиеся около того времени (конец пятидесятых) \*, если мне не изменяет память, в журнале «Октябрь». Как-то так получилось, что, увлекаясь его поэзией, мы почти ничего не знали о нем самом. Да шибко-то и не дознавались — он был, радовал нас, остальное не интересовало. По многим страницам его произведений выходило, что он «поступью и родом» безусловно наш, сибиряк, но откуда-то, считали мы, из Новосибирска или Иркутска. Часто встречалось название его родной деревни — Марьевка, но ведь Марьевок, как и Ивановок, по Сибири сыщется не один десяток. И лишь позднее случайно вычитали, что родился-то он именно в нашей Марьевке в Яйском районе \*\*. Это открытие ничего, конечно, не изменило, никто не ринулся к нему по праву землячества за поддержкой и рекомендациями, как это иногда бывает. Сам же Василий Дмитриевич в Кемерове тогда не появлялся, а если, может, иногда и бывал, то сразу, по видимому, из аэропорта уезжал в свою Марьевку.

Впервые я увидел его близко на кемеровском совещании молодых писателей летом 1966 года. В наш город приехали многие известные всей стране писатели, поэты, работники центральных газет, журналов, издательств. Бурно протекали заседания, поездки, выступления. Все эти калейдоскопичные, взбудораженные до головокружения, необычайно насыщенные дни промелькнули быстро, оставя на всю жизнь ощущение редкостного праздника. Сколько встреч, знакомств! Нас с Евгением Буравлевым буквально заставил читать стихи у себя в гостиничном номере насупленный,

---

\* Поэма «Седьмое небо» создавалась с 1959 по 1967 год. Главы поэмы публиковались в ж. «Октябрь» в 1959 г. (№ 5), 1960 г. (№ 7), 1962 г. (№ 3), 1963 г. (№ 4).

\*\* В. Д. Федоров родился в 1918 году, а в Марьевку семья Федоровых переехала в следующем году, здесь и прошли детские и юношеские годы поэта.

будто сердитый Ярослав Смеляков, деревеня от робости, выступал я вместе с Леонидом Решетниковым, Виктором Астафьевым и Сергеем Никитиным, услышал добрые слова от Леонида Сергеевича Соболева. А вот с Василием Дмитриевичем так и не довелось тогда познакомиться, только изредка подходил к нему в окружении ребят. Приметный собою — седоволосый, с гордой посадкой головы, он напоминал большую какую-то птицу.

Второй раз я встретился с ним через два года, будучи слушателем Высших литературных курсов, на одном из занятий поэтической секции, куда его пригласил однажды не то заведующий кафедрой творчества поэт Валентин Португалов, не то Александр Петрович Межиров, который тогда эту секцию у нас возглавлял. Василий Дмитриевич по зимнему времени пришел в длинной дубленой шубе и беседовал с нами около часа тоже по зимнему — холодно и отчужденно. Разговор шел туго, неровно, с заминками, будто пообещал он кому-то сгоряча выступить у нас и теперь с большой неохотой это свое обещание выполнял. Я сидел в первом ряду, видел его недовольное, капризно-кислое лицо, испорченное кем-то ранее настроение, поэтому у меня и мысли не возникло подойти к нему после беседы и представиться. Он же, будто категорически пресекая такую возможность, сразу оделся и быстро ушел — еще по молодому стройный, легкий.

Как-то Евгений Буравлев, возглавлявший тогда Кемеровскую писательскую организацию и часто в связи с этим появлявшийся в Москве, пришел попроведать меня в общежитии на ул. Руставели, где и сам он жил когда-то, будучи студентом Литературного института. Такие дни были для меня истинно праздничными, собирали в моей комнате многих моих дорогих сокурсников. Приходил живший за стенкой барнаулец Иван Кудинов, тучный

добродушный туляк Николай Любин, дальневосточники Станислав Балабин да Михаил Асламов, брянец Виктор Белоусов, заглядывал очень непоседливый в ту пору Юван Шесталов, подолгу сживал с нами, неизвестно как перемогая безбожную накуренность, часто хворавший, скромный, милейший человек новосибирец Аскольд Якубовский. Все они любили моих друзей, Евгения Буравлева и нередко гостившего у меня Анатолия Соболева, дорожили их вниманием и впоследствии хорошо дружили с ними уже, так сказать, отдельно от меня. Так вот, в один из приездов Евгений Буравлев стал уговаривать меня смотаться вместе в Центральный дом литераторов. Был хоть и не поздний, но уже вечер, порядком были мы отягощены разговорами и накопившейся за день усталостью, подниматься и ехать никуда не хотелось.

— Понимаешь, — как бы оправдываясь, сказал Буравлев, — мне Василия Федорова край повидать надо. Мы условились там встретиться.

Тут я, конечно, согласился сразу и через минуту готов был сам поторапливать медлительного Буравлева. Наконец-то забрезжила удача побыть рядом и познакомиться с любимым поэтом. Однако как сильно было желание, так велико и разочарование.

В ЦДЛ, как всегда, былолюдно, интересно. Я бывал там редко, потому и в этот раз с провинциальным любопытством рассматривал, узнавая, известных писателей, обстановку, исписанные стихами стены. Да так увлекся, что не заметил — откуда и когда появился Василий Дмитриевич. Гляжу, он сидит напротив, немного сбоку, в темном пиджаке, с которым ярко контрастируют белые его волосы, внимательно смотрит на Буравлева небольшими своими чуть оплывшими глазами. На меня — никакого внимания, словно кроме него и Буравлева за столиком никого не было. Помалкивая, я в упор его разглядывал.

Буравлев вынул блокнот, повел разговор о

каких-то пиломатериалах, брусьях, оконных рамах, что-то советовал — он знал толк в строительных делах. Василий Дмитриевич вникал, поддакивал, соглашался, уточнял. Нетрудно было понять, что речь идет не то о затеваемом, не то уже строящемся доме в Марьевке, куда он мог бы летом приезжать на отдых, а если будет работаться — и работать. Евгений Буравлев, видимо, посильно ему помогал.

Прошло какое-то время, деловой разговор начал помаленьку пригасать, уже заговорили раздрганно и обо всем, а на меня, сидящего молчаливо-нелепо рядом с Буравлевым, Василий Дмитриевич впрямую и открыто так и не взглянул ни разу. Все как бы невзначай, не задерживаясь взглядом, скорой такой пробежкой. Оно и справедливо: не обязательно было обращать на меня внимание — мало ли кого мог привести с собою общительный и щедрый Буравлев. Наконец Женя смекнул, что мы с Василием Дмитриевичем вообще пока не знаем друг друга.

— Так вы что же, не знакомы? Витя Баянов — наш молодой, подающий и т. п.

Я думал, что Василий Дмитриевич спросит: кто я, зачем в Москве, что написал. Но он «без руки и слова», только чуть продолжительнее прежнего на меня посмотрел, единственно, как мне подумалось, чтоб не обидеть Буравлева. Немного это задело за живое, но тут же я и успокоился, приняв нарочито независимый вид. Получилось почти как в стихотворении А. Т. Твардовского о кузнеце, к которому приехал повидаться сын полковник. У того тоже всколыхнулся было «кураж характера», как говорит один мой знакомый. Тот самый кураж, что в любой подобной ситуации при здоровом чувстве собственного достоинства, рядом с гордостью за человека, почтительностью и даже любовью не оставляет места лести, уничижительному угодничеству, подобострастию.

*Полковник! А скажем и так: ну полковник.  
Ну даже полковник! А я вот кузнец.*

Правду говоря, эта новая, какая-то нескладная встреча с поэтом если и вспоминалась потом, то изредка и — к разговору. Не гадалось, доведется ли в будущем сойтись поближе, но я знал, что сам к нему вряд ли насмелюсь подойти.

Василий Дмитриевич за всякими заботами тоже начисто забыл нашу встречу и невнимательно-мимолетное знакомство в ЦДЛ. Потом мне часто приходилось видеть его в разных местах — в Союзе писателей, в издательстве «Современник», в том же ЦДЛ, но ни разу я не заметил взгляда, кивка или еще какого-то знака, указывающего на то, что он помнит меня и приветствует, как это принято у русских, пусть мало знакомых, людей. О его забывчивости можно судить по тому, как он однажды в Марьевке обратился ко мне:

— Виктор, мне все кажется, что я где-то раньше видел тебя... Нет, ошибаюсь. Просто ты похож на Солоухина.

Но это немного позднее, а тогда из наслоенных случайных штрихов сложился у меня — теперь-то понимаю, что поспешный и ошибочный — образ человека неприветливого и даже высокомерного. Я решил сгоряча отделять для себя самого поэта от сделанного им, по молодой запальчивости не допуская и капли расхождения между реальным, живым человеком и тем, каким я представлял его, читая созданные им стихотворения и поэмы. Я верил, что более глубокое узнавание поэта может отрицательно сказаться на восприятии его поэзии. Через годы я попытался, возможно, неудачно, расплывчато, провести эту мысль и настроение в стихотворении «Имба на горе», посвященном Василию Дмитриевичу. Наверно, он так и остался бы для меня человеком трудноприемлемым, если бы на этой отметке затормозилось и не продвинулось дальше наше знакомство.

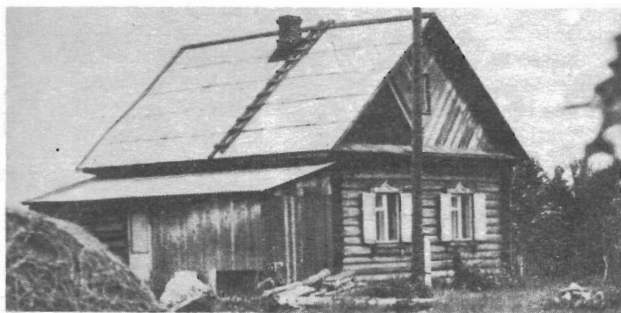
Я никогда не помышлял сделаться профессиональным писателем и, окончив Высшие литературные курсы, вернулся в Кемерово на прежнюю свою работу, которую освоил еще в юности и любил всегда — снова сел за управление локомотивом. Как-то Евгений Буравлев сказал мне:

— Старик, Василий Федоров в Марьевку приглашает. Большой группой. Машиниста, говорит, обязательно привези.

Что-то притягательное, волнующее мерещилось в этой поездке. Связанный по рукам работой, жестким производственным распорядком, я мало общался с друзьями, почти никуда не отлучался из города, а тут такая вдруг воля и такая снарядилась дружина! Кроме того, я очень люблю дорогу и новые места. Хотелось увидеть родину Василия Дмитриевича, его самого, немного отвлечься и отдохнуть от колесного стука и скрежета. Словом, я согласился с радостью.

...Дом Василия Дмитриевича, крытый по-амбарному — на два ската, золотясь новыми бревнами, стоит на ветровом привольном месте и виден чуть ли не от самой Яи. Долго едешь, а он все один маячит вдалеке на горке, и большим, высоким делает его такое местоположение. Вблизи же не так он и велик, с тесовыми сёнями и простым, без всяких украшений, крыльцом. Перед крыльцом довольно обширная ограда, как у нас в Сибири принято называть не только собственно изгородь, но и самое территорию, двор. Кое-где в сорном разнотравье, до которого у занятого домом хозяина не дошли пока руки, чернеют лунки с робкими саженцами сибирского кедра, еще не помню каких деревьев — это хозяин показывает с удовольствием и в первую очередь. За домом, с рассветной стороны, крутой спуск к цвело́й воде старицы Яи, затянутой у берегов плотной ряской. А дальше такой чистый и высо́кий простор, что дух захватывает.

Василий Дмитриевич обустроивает дом, по-



*Дом В. Д. Федорова на Назаркиной горе. 1980 г.*

могает обшивать шелевкой стены изнутри, выказывая в работе с ножовкой и молотком немалую сноровку. Он доволен, весел. Говорит, что чувствует себя здесь как бы накоротко подключенным к жизни и заботам земли, родной стороны. Потом забавно, с большой симпатией рассказал о нанятом мастере-печнике, который, получив аванс за предстоящую работу, вдруг куда-то исчез и около месяца не показывался на глаза. Затем виновато явился, добрал остальное и наоборот — никуда не сходя со двора, несколько дней изводил Василия Дмитриевича разговорами, из коих он понял только, что ничего в жизни нет важнее печного дела. К работе же все никак не мог подступиться. Василий Дмитриевич было засомневался: уж печник ли он, не вымогатель, не шарлатан ли какой? Однако совесть, видно, проснулась в мужичке или дождался, наконец, душевного настроя, но за короткий срок он отгрохал такую печь, что Василий Дмитриевич восхищался ею, как достопримечательность всем ее показывал, объяснял «хода», действительно редкое и хитрое печное устройство. Комбайн, а не печь!

Тогда же заехали к Василию Дмитриевичу районные руководители и специалисты — попрове-



*Среди работников яйской газеты «Вперед к коммунизму»  
1972 г.*

дать и узнать, что еще нужно для окончательной отделки дома, чем можно помочь. Евгений Буравлев привязался к одному из них, верно — строителю, требуя непременно соорудить лестницу по чертоломному склону к зеленой воде старицы. И так этой лестницей затюкал славного, тихого человека, что тот несколько раз, при случайном приближении Буравлева вздрагивал и, отходя, серьезно заверял:

— Евгений Сергеевич, будет лестница, честное слово. Сказал — будет!

Замечательно прошел в этот день поэтический праздник в райцентре. Василий Дмитриевич слушал нас очень внимательно, просил читать побольше — знакомился. В конце с большим успехом выступил сам. Вечерним поездом мы уехали в Кемерово.



Гораздо лучше запомнилась мне поездка в Марьевку летом 1972 года. Кемеровское телевидение решило сделать обо мне передачу, где, по замыслу, должен был и Василий Дмитриевич сказать о моих стихах какие-то слова. Поехали на студийном автобусе. Видно, телевизионники заранее каким-то образом условились с Василием Дмитриевичем, так как он совсем не удивился нашему приезду и по всему — словно бы ждал нас. С утра он уже несколько часов провел за машинкой, притомился, и наше появление пришлось даже кстати.

В его комнате на столе, рядом с портативной пишущей машинкой лежали листы бумаги, испи-санные стихами от руки. По внешнему своеобраз-ному рисунку строфы теперь я догадываюсь, что



*В. Федоров, О. Павловский, В. Баянов. 1972 г.*

работал он тогда над поэмой «Женитьба Дон-Жуана».

Ребята ушли искать электролинию для подключения телевизионной аппаратуры, а мы — Нелли Николаевна Соколова, сценарист и редактор передачи, и я — долго беседовали с Василием Дмитриевичем в его комнате. Затем Нелли Николаевна уединилась с Ларисой Федоровной, а мы с Василием Дмитриевичем вышли во двор, благо погода была прекрасна. Под мягким предосенним солнцем, в кудлатых перелесках, полях, лугах — во всем был покой и вялая истомленность щедрым теплом, буйным наливом, наступающей спелостью. Запомнилось высоченное небо и уходящая не знамо куда облегчающая душу даль. Когда-то я трудно сживался с городом, где глаза, привыкшие вот к такому пространству, то и дело натывались на дома, башни и трубы. Взгляд как бы спотыкался о них, ломался, и дальше этих труб и башен ходу ему не было. От того, думалось мне, люди в городе должны быть замкнутее, суше, все доброе и худое некуда им выдохнуть, держат в себе. В деревне же, если и случалась какая душевная сумятица, то она недолго давила сердце — свободно уходила из него в полевые просторы...

Василий Дмитриевич повел рукой:

— Ну как?

Я сказал, что хорошо, слов нет; еще чуть-чуть, и было бы — как у нас в Топкинском районе.

Он засмеялся:

— Ишь ты! Каждый кулик свое болото хвалит. Так и должно быть. Но красивее наших мест трудно найти. Такой вид только в Михайловском, когда смотришь на Сороть. Очень даже похоже.

Когда я сказал, что удачно выбрано место для дома, Василий Дмитриевич тут же перефразировал Пушкина:

— Да, здесь все ветры в гости будут к нам. Далее он говорит, какие тут в конце лета и

осенями бывают туманы. Я оглядываю окрестность с высокого яра, и совсем нетрудно мне представить, как вон там, где пасется стадо, с раннего вечера едва заметной сперва белесью заведется туман, потом станет копиться, расстечется по низине, огороды заполонит, а к дому Василия Дмитриевича только перед утром подступится, когда наслонится, загустеет, и места ему в низине не станет хватать. Василий Дмитриевич показывает на небольшую согорку внизу.

— Сейчас за свежей водой в родник ходим. Мы спускаемся по тропинке к роднику, который едва высачивается из зарослей. У Василия Дмитриевича там сделана на выходе ямка, где вода накапливается и отстаивается. Он начерпывает из ямки ковшиком в ведро. Мы присаживаемся возле руслица в тенечке. Бросается в глаза обилие рябинника — все красно от него. Тихо, глухо. Долину Яи забила плотная маревая наплывь, даже далекий горизонт делается от нее смурным и темноватым. На память сами приходят строки А. Прокофьева:

*Не боюсь, что даль затмилась,  
Что река пошла мелеть.*

Василий Дмитриевич встрепенулся и попросил, чтоб я, если помню, прочел все стихотворение. Читаю, а у него лицо счастливое и какое-то настороженно-жадущее, будто боится, что я могу забыть, споткнуться, и тотчас он подскажет. Оказалось, что это у него чуть ли не самое любимое прокофьевское стихотворение. Так поговорили немного о стихах. Василий Дмитриевич, готовясь к передаче, прочел и мои и сейчас сказал — обобщенно, не выделяя какие-то конкретные стихотворения, строфы или строки:

— Ну что ж, слово тебя слушается. Но надо думать, куда идти дальше. Нет охоты заняться

большой вещью? Совершенно иная структура стиха...

Вдруг он без всякого перехода, ни с того ни с сего поинтересовался, не приезжал ли ко мне из деревни в Москву отец, когда я там учился. Зачем-то ему было нужно, что-то, видимо, хотел выяснить, уточнить для себя, но отец ко мне в Москву не приезжал...

Когда мы поднялись на горку с водою и входили уже в ограду, Василий Дмитриевич сказал, что у него есть желание купить мотоцикл с коляской, но он не знает, куда его ставить на сохранение. Загромождать ограду лишними строениями — гаражом, сараем — не хочется. Мне подумалось, что он ожидает совета, и я, показывая на высокие на столбах сени, с налету бухнул, что-де можно углубиться под сени, вырыть нечто похожее на артиллерийскую или танковую аппарель с пологим скатом и мотоцикл туда закатывать. Василий Дмитриевич, видно, отвергнув до этого немало всяких прожектов, подобного еще не слышал, даже с шага сбился, но тут же весело и, как мне показалось, одобрительно на меня посмотрел, усмехнулся — что, мол, с тебя взять — и, не останавливаясь у крыльца, пригласил в дом. В сенях уже, наверно, боясь меня обидеть, сказал, что мое предложение неприемлемо — будет в эту самую аппарель заливаться дождевая вода.

Вскоре вернулись из деревни ребята и огорченно сообщили, что здесь, в Марьевке, нет электролинии нужного напряжения. Так и не состоялась тогда съемка.

Несколько лет кряду я с Василием Дмитриевичем не встречался. В каждый свой приезд из Москвы он приглашал меня через друзей наших общих, хотел видеть, а я все не являлся — никак не отпускала работа на производстве. Почти мимоходом встретились на съезде писателей. Где-то за-

метил, подошел. Не выпуская моей руки и, словно апеллируя к кому-то в пестром многолюдье, с растяжкой как-то сказал обо мне е третьем лице:

— Виктор что-то меня избегает...

В тихом его голосе за шутливым вроде выговором слышится серьезный упрек, укор, и мне делается стыдно хоть провались. Вообще он стал мягче, проще, внимательнее, и отходить от него не хочется.

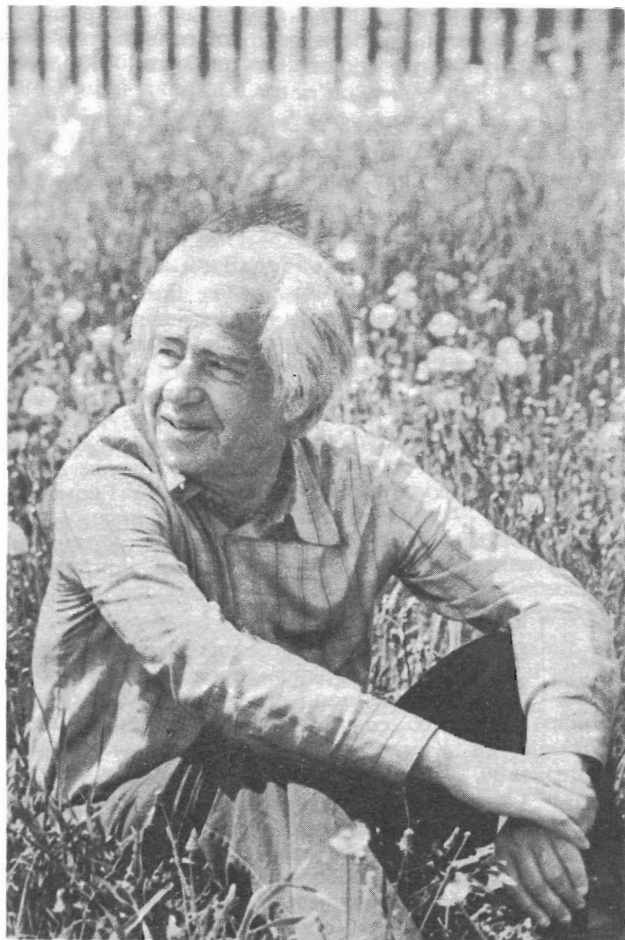
Летом восьмидесятого состоялся большой, празднично-яркий поэтический вечер Василия Дмитриевича в Кемеровской филармонии. Шахтеры, химики, студенты горячо его встретили и долго не отпускали со сцены. Он и сам был в ударе, оживлен, доволен. Приветствуя Василия Дмитриевича, прочел там и я свое стихотворение «Имба на горе», ему посвященное:

\* \* \*

*Это было, было, было  
Так давно, чуть помню сам —  
В год, когда еще рябина  
Густо рдела по лесам.  
В сограх, в травах, буйно росших,  
Пели звонкие ключи.  
Без помехи в белых рощах  
Жировали косачи.  
И у каждой у излуки  
Рябь речную, как хлыстом,  
От избытка жизни щуки  
Били радужным хвостом.  
Так, от роши и до лоя,  
От олушки до села  
Шла и шла моя дорога  
И к деревне привела.  
Деревенька небольшая,  
Да со всех сторон видна.  
Небольшая речка Яя,  
Да какая глубина!*

Зачерпнул водицы горстью,  
Смыл испарину со лба.  
Показалось: кличет в гости  
На крутом яру изба.  
Что там ждет, добро иль худо?  
Повернуть или зайти?  
Верю я: любое чудо  
Может здесь произойти.  
Вдруг на взгорке, как когда-то,  
В давнем платье, налегке,  
Граева возникнет Ната,  
Царственно пойдет к реке.  
Иль окликнет из распадка,  
Где малиновы кусты,  
Глаша, статная солдатка,  
Небывалой красоты.  
Только вижу: сед, измаян,  
На крылечко без резьбы  
Шумно вышел сам хозяин  
Этой сказочной избы.  
Подойти б, сказаться просто,  
Рядом сесть к плечу плечом.  
Что ж скажу я, вот вопрос-то,  
И поведаю — о чем?  
О дороге, людях, лете  
Разверну картину, гость?  
Так ведь знает все на свете,  
Так ведь видит все насквозь...

И ушел я от ограды,  
От избы,  
      неся, как весть,  
В сердце тихую отраду —  
Что она под солнцем есть.  
Будет путь большой иль краткий,  
Тяжкой, легкой ли ходьба,  
Оглянусь с тропы негладой —  
Пусть останется загадкой —  
Эта русская изба.



На Нязаркиной горе в июне 1978 г.

Позднее, в гостинице, куда я с товарищами помог ему нести цветы и подарки от земляков, он пригласил побегать, поужинать вместе. Поблагодарил:

— Спасибо за стихи и — что пришел.

Слов нет, непривычно радостно было мне, когда он, сидя на одном ряду через несколько человек от меня и что-нибудь рассказывая, время от времени склонялся к столу и, повернувшись, отыскивал меня взглядом...

Затем я снова долго не видел Василия Дмитриевича. На исходе зимы восемьдесят третьего года в Москву, в ЦДРИ, поехала большая группа работников культуры Кемеровской области. В одном из залов Центрального дома работников искусств была развернута небольшая выставка живописных и графических работ кузбасских художников. Выделялся яркостью исполнения портрет Василия Дмитриевича, написанный Германом Захаровым. Лицо поэта — одухотворенное, светлое. Взгляд острый и внимательный, устремлен в пространство, вроде всматривается в загаданную для себя трудную, но и отрадную дорогу, которую предстоит еще одолеть.

Знакомясь с ЦДРИ, я рассеянно бродил по комнатам и коридорам, стараясь отрешиться от суеты, унять преждевременное волнение — мне предстояло читать со сцены стихи. Вдруг вижу — по лестнице на второй этаж поднимается Василий Дмитриевич с Ларисой Федоровной. Вот уж радость! Оказывается, узнал откуда-то о нашем приезде, пришел повидать земляков, и на свой портрет взглянуть, наверное, интересно было. Я знал, что он тяжело болел, перенес сложнейшую операцию. Все это, конечно, убавило здоровья, крепко его подкосило, но не был он удрученным или подавленным. Правда, сразу сказал, что неважно себя чувствует и до конца праздника не останется.

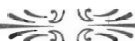


Портрет Василию Дмитриевичу понравился. Обходя зал, он нет-нет да взглядывал на него с разных сторон. Успокоенно отошел, когда о портрете одобрительно отозвался известный художник Яр-Кравченко. Около получаса были мы с Василием Дмитриевичем неразлучны. Даже когда меня на несколько минут отвлекло ЦТ, он далеко не отошел, постоял в сторонке, подождал. Потом мы сходили вниз — ему что-то понадобилось взять в гардеробе, — нашли там в каком-то закутке свободный диван и посидели, ему не хотелось колготы и сумятицы. Он вдруг сказал, что хотел бы побывать в Марьевке зимой и смогу ли я туда приехать. Знал, что с другими нашими ребятами договориться проще, а меня строго держит работа, производство. Тихо и доверительно мы беседовали, но раздался звонок, и надо было нам расходиться — Василий Дмитриевич направился в зал, а я — на сцену, где и хозяева-москвичи, и гости-кузбассовцы занимали уже места. На прощание он протянул руку и еще раз сказал, что до конца не останется, немного побудет и уйдет.

Сидя на сцене у самого задника, я тянулся и привставал, ряд за рядом перебрал весь зал и отыскал Василия Дмитриевича — он сидел совсем недалеко от сцены, на шестом или седьмом ряду. С четверть часа я нет-нет да поглядывал туда: сидит ли, не ушел ли домой. Потом, во время краткого перерыва, я увидел, как он поднялся и легко, как всегда он ходил, пошел по проходу. Затем повернул налево и, двигаясь к двери, посмотрел на сцену. Я приподнялся и помахал ему рукой. Не знаю, меня ли он заметил или кого-то еще, но уже у самой двери он тоже поднял над головой руку, как мы обычно делаем — и приветствуя, и прощаясь.

Больше я Василия Дмитриевича не видел.

12 августа 1985 г.



П. М. Дорофеев

**МЫ ГОВОРИЛИ ОБО ВСЕМ...**



*На первом празднике В. Федорова. Справа налево: Л. В. Решетников, Н. А. Огроков, П. М. Дорофеев, Л. Ф. Федорова, В. Н. Полецков, Г. Е. Юров. Марьевка, 11 авг. 1985 г.*

Мое знакомство с Василием Федоровым состоялось давно. Как-то случайно в конце 60-х годов мне попал в руки томик его стихов. Я с огромной жадностью мгновенно «проглотил» эту небольшую книжицу и долго сидел, размышляя: надо же так на редкость удивительно просто и вместе с

тем сочно, ярко, зримо писать о мире, с помощью чеканных поэтических строк воссоздавать образы современников и высказывать глубокие философские суждения!

С того счастливого памятного дня, когда я впервые окунулся в беспредельно широкий и прекрасный поэтический мир Василия Федорова, я постоянно искал и с упоением читал все, выходящее из-под его пера.

В стихах и поэмах нашего земляка — страстная, горячая любовь к России, олицетворением которой часто выступала родная Марьевка, и его неподдельная любовь к труженикам, и его беспредельное восхищение красотой сибирской природы, озером Кайдор, речкой Яей, милой березовой рощей, заречными далями.

В его стихах — гимн человеческой доброте и беспощадная ненависть к подлости, лицемерию, жестокости, лжи, несправедливости.

Читать стихи Василия Федорова — это не только наслаждаться поэтическими строками, звучностью фраз, восхищаться чарующей красотой природы, но это — и непрерывно вбирать в себя знания и народную мудрость, познавать мир.

Его стихи хотелось не просто читать, а заучивать на память. Они оставляли неповторимый след в сознании, производили впечатление, не сравнимое ни с чем.

По мере того как расширялось знакомство с поэзией В. Федорова, передо мной все ярче, рельефнее вырисовывался созданный моим воображением образ самого автора.

И вот первая встреча, личное знакомство, состоявшееся при необычных обстоятельствах: летим в одном самолете по маршруту Кемерово — Новокузнецк. Я по делам командировки, а он с супругами Махаловыми — в Горную Шорию, полюбоваться яркой красотой этого южного края Кузбасса (потом мне рассказывали, что Василий Дмитриевич вскоре вернулся домой, заявив при

этом, что окрестности Марьевки не хуже, а, пожалуй, лучше хваленых горных пейзажей).

Тридцатиминутный перелет до Новокузнецка показался одним мгновением. Впервые я искренне посетовал на быстротечность воздушных перелетов.

Мы говорили обо всем: и об экономической, индустриальной мощи Кузбасса, о великолепной красоте природы, и о болезненных, хорошо видимых с самолета рваных ранах земли, нанесенных современной могучей горной техникой. Глядя на израненную землю, я процитировал стихи Василия Федорова:

*О, мы творим, преобразуем,  
Но почему ж, врага грубей,  
Мы поминутно угрожаем  
Извечной матери своей?  
Чтобы себя и мир спасти,  
Нам нужно, не теряя годы,  
Забывать все культы и ввести  
Неоспоримый культ природы.*

Между прочим, по ходу беседы, касаясь различных тем, я читал некоторые стихи Василия Дмитриевича в порядке подтверждения той или иной мысли. Помню, это вызвало большое удивление поэта.

— Честно говоря,— заявил он,— не думал, что у секретарей обкома партии \* есть время интересоваться стихами и даже знать их наизусть.

На это я ему ответил:

— Все зависит от стихов. На плохие стихи, конечно, времени не будет, хорошие стихи властно входят в душу, на них время всегда найдется.

Мы расстались с обоюдным желанием продолжить наш неоконченный разговор — возможно, в Марьевке или в Кемерове. Действительно, в

---

\* П. М. Дорофеев до переезда на работу в Москву в 1987 году был секретарем по идеологии Кемеровского обкома КПСС.

последующем мне приходилось встречаться и беседовать с Василием Дмитриевичем не раз. Эти встречи всегда оставляли во мне глубокие впечатления, они сохраняются в памяти на всю жизнь.

Это был на редкость удивительный собеседник: умный, мудрый, со своим собственным видением современных проблем, смелыми оригинальными суждениями.

Чувствовалось его глубокое знание жизни, психологии современного крестьянина, а житейский опыт и пройденный в молодые годы путь рабочего на авиационных заводах Новосибирска и Иркутска позволяли ему великолепно ориентироваться во многих проблемах современности.

Он остро всматривался в жизнь, особенно в жизнь села, критиковал местные партийные, советские и хозяйственные органы за некоторые ошибочные решения, особенно по части постоянной текучки руководящих кадров на селе. Как-то при встрече с председателем Кемеровского облисполкома В. Н. Полецковым он спросил:

— Может ли директор совхоза в течение года изучить вверенное ему хозяйство, его людей и принести какую-нибудь пользу?

На отрицательный ответ т. Полецкова о том, что годичный срок является чрезвычайно малым для глубокого познания всей специфики сложного сельскохозяйственного производства и что требуются более длительное изучение и знакомство, Василий Дмитриевич, улыбнувшись, с хитринкой заметил:

— А вот в Марьевском совхозе на протяжении последних десяти лет почти ежегодно меняются директора совхоза.

Как-то я спросил у Василия Дмитриевича, откуда у него появилась мысль, изложенная в четверостишии:

*Картина нетипичная,  
А облик постоянный.*

*Коровники — кирпичные,  
А клубик — деревянный.*

— В Марьевке! — воскликнул поэт. — Вы посмотрите наш марьевский деревенский клуб и марьевские коровники.

Однажды говорю первому секретарю Яйского райкома партии Н. С. Руденко:

— Когда вы по-настоящему возьметесь за дороги? До каких пор непролазная грязь будет господствовать в селах Яйского района?

— А мы дороги строим, у нас есть целая программа по этому вопросу.

— Программа-то есть, а вот дорог нет. Прочти стихи своего земляка Василия Федорова — станет яснее.

А в стихах такие строки:

*Грязь такая, что, пыхтя,  
Не пройдешь к родне по ней.  
Грязевой вулкан — дитя  
Перед Марьевкой моей.  
Сам застрял, и боль острей.  
Нашей Марьевке и многим  
В коммунизм идти быстрее  
Не дают пока дороги.*

Действительно, возразить что-либо по этому вопросу трудно.

Откровенно скажем, многие социальные изменения, происходящие за последние годы в Марьевском совхозе: строительство Дома культуры, школы, гостиницы, жилья, дорог — все это осуществлялось не без влияния Василия Федорова.

Еще при жизни поэта Кемеровский облисполком принял специальное решение «О благоустройстве села Марьевки, родины поэта Василия Федорова». В постановлении была определена целая программа, рассчитанная на несколько лет.

Хотелось бы сказать еще об одной характерной

черте этого человека — о его удивительной скромности. Один из самых популярных и читаемых поэтов страны, автор многочисленных сборников стихов и поэм, лауреат государственных премий СССР и РСФСР, секретарь Союза писателей РСФСР, Василий Федоров был на редкость далек от всякой показной мишуры, пустословия и возвеличивания своей личности.

Будучи человеком большой внутренней культуры, он терпеть не мог чванства, угодничества, лести и страстно обрушивался на человеческие пороки, бичуя их беспощадно, не делая скидок, не идя на компромиссы. Помню, с каким смущением и волнением он получал Почетную грамоту обкома КПСС и облисполкома, которой был награжден за активную работу по пропаганде советской литературы и личный вклад в литературно-художественное воспитание трудящихся области.

Грамота вручалась при переполненном зале областной филармонии, где проходил авторский вечер \* поэта. В течение двух часов Василий Дмитриевич проникновенно читал свои стихи, отрывки из поэм, блистательно отвечал на многочисленные вопросы. Встреча закончилась бурными аплодисментами любителей поэзии, пожеланиями здоровья, больших творческих успехов, новых поэм и стихов.

В заключение Василий Дмитриевич сказал:

— Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше великое терпение. Два часа я держу вас в этом, полетному жарком зале, испытываю сложные чувства: с одной стороны, чувство глубокого удовлетворения от встречи с вами, своими земляками, с другой стороны, чувство опасения и сомнения: а доставил ли я вам хоть какую-нибудь радость?

В разной обстановке и при различных обстоятельствах мне приходилось встречаться с Василием Дмитриевичем Федоровым, человеком ог-

\* Июль 1980 г.





ромного поэтического таланта, от природы щедро наделенного острым умом и глубочайшей внутренней энергией. Мы читали вместе его стихи и на Назаркиной горе в Марьевке, увлеченно спорили у меня на квартире и в гостинице Кемерова, обменивались мнениями по некоторым вопросам в Центральном доме работников искусств Москвы — и всюду это были незабываемые минуты общения с человеком большой души, высокоэрудированным, разносторонне образованным.

Это был равнодушный человек. Он живо откликался на заботы нашей кемеровской писательской организации, постоянно поддерживал ее и помогал, а рядом с ним всегда была его супруга, большой друг, соратник, собрат по перу Лариса Федоровна Федорова. В Яйском районе Лариса Федоровна пользуется большим влиянием и авторитетом. Я убежден: нет человека, который бы, зная ее, не был влюблен в нее. Человек огромного обаяния, доброты и сердечности, она всегда помогала Василию Дмитриевичу во всем, была верной опорой на его жизненном пути.

И тысячу раз прав московский поэт Алексей Марков, который в одном из своих выступлений заявил:

— Отдавая дань уважения Василию Федорову, мы должны рядом с ним поставить и его супругу Ларису Федоровну. Эта удивительная женщина так много сделала для поэта.

Много воспоминаний связано с тревожными днями болезни Василия Дмитриевича. В это время, полное волнений и беспокойств, мне часто приходилось встречаться с ним и в больничной палате, и в профилактории, где он находился на излечении после операции, и в Марьевке. Меня поражала его глубочайшая вера в благополучный исход, в свое выздоровление, хотя оценка специалистами его состояния (желудочно-кишечная операция, инфаркт миокарда, необходимость второго этапа операции) давала мало утешительного.



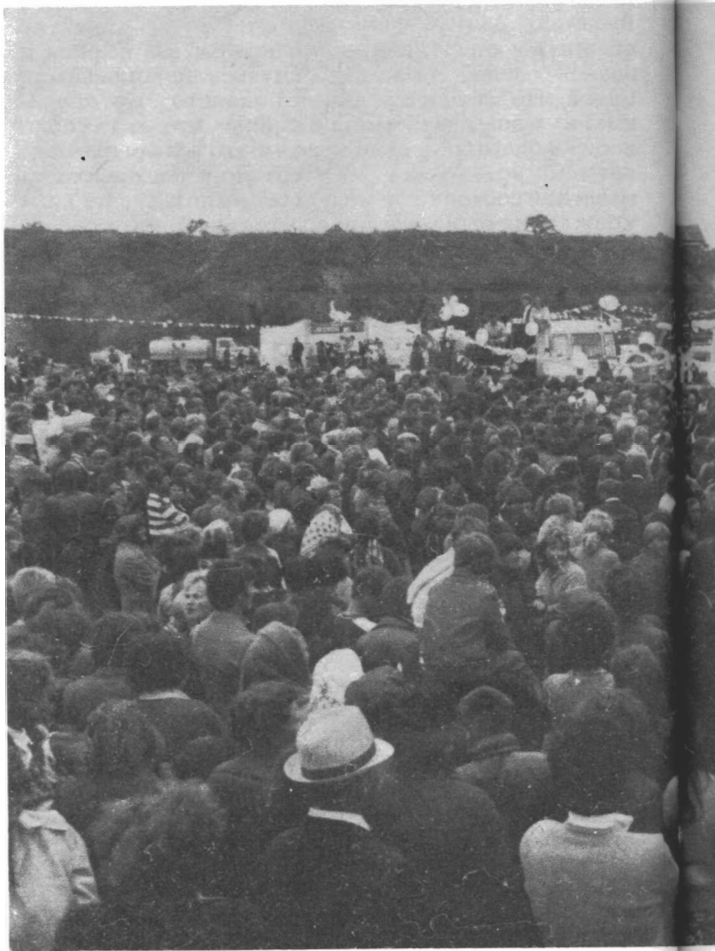
Находясь в больничной палате после сложной операции, он через несколько дней уже не мог лежать в кровати, бодро и даже весело встречал приходивших гостей, много шутил, врачам и медсестрам писал шуточные стихи.

Профессор Т. И. Шраер, делавший операцию, говорил мне потом об удивительной внутренней силе и воле своего пациента, которые бесспорно помогли врачу преодолеть болезнь, поставить больного на ноги. Но случился инфаркт. Необхо-

дима была повторная операция. Все считали, что Василию Дмитриевичу надо набраться сил, не спешить с операцией, что слишком велик риск и всякая спешка может обернуться непоправимой бедой. Но сила убеждения больного, что операцию нужно делать именно сейчас, что он глубоко верит в благополучный исход и что всякая затяжка времени только усугубит его морально-психологическое состояние и не пойдет на пользу, эта сила убеждения была настолько огромной, что поколебала даже врачей, и операция была сделана. Все обошлось как нельзя лучше. Именно в эти тревожные дни Василий Дмитриевич написал такие строки:

*Время село  
На плечи мои.  
Как живое, в извечном полете  
На одном роковом обороте  
Время село на плечи мои.  
Время тот сторожило момент,  
Когда жизнь моя в беге запнется,  
Скорость века с моей разойдется,  
Время тот сторожило момент.  
Стал я ниже и ближе к земле.  
Время давит, с него-то и случилось,  
Что и в росте уменьшился малость,  
Стал я ниже и ближе к земле.  
Не ветвями — корнями расту,  
Есть у жизни, почти до погоста,  
Хитрый фокус обратного роста.  
Не ветвями — корнями расту.  
Время село на плечи мои,  
Говорю я, любивший запойно,  
Хоть и грустно, но все же спокойно.—  
Время село на плечи мои.*

Прочитав их, он спросил, нравятся ли они мне? И на мой утвердительный ответ вдруг неожиданно заявил: «Я хотел бы эти стихи посвятить вам».



*На празднике поэзии В. Федорова. Марьевка, 1985 г.*



Помню, я что-то в неловком смущении пытался говорить о высокой чести, которую не заслужил, слова благодарности и прочее. А он, улыбаясь, пошутил: «К тем стихам, которые вы знаете наизусть, придется добавить еще одно, посвященное вам лично».

Когда мы говорим, что Василий Федоров пользуется подлинным признанием народа, то это не просто слова, это — истина, убедительно подтвержденная в первые Федоровские чтения, проведенные в его родной деревне Марьевке и в областном центре — городе Кемерове \*. Несмотря на ненастную погоду, по-осеннему холодную и неласковую, праздник поэзии, посвященный нашему выдающемуся земляку, вылился в могучую манифестацию всенародной любви к поэту, чье творчество неразрывно связано с судьбами людскими.

Никогда и ничего подобного не видело старинное сибирское село Марьевка. Тысячи и тысячи людей нескончаемым потоком шли на Назаркину гору, к домику поэта, где устанавливались бюст Василия Федорова и мемориальная доска (см. фото) \*\*. А на широких привольных лугах речки Яи звучали стихи и песни на слова В. Федорова, выступления народных хоров, проводились спортивные состязания, шуточные аттракционы.

Нет сомнения в том, что Федоровские чтения отныне будут традиционными. В памяти народной навсегда сохранится светлый образ выдающегося поэта, гражданина, коммуниста Василия Дмитриевича Федорова, а его произведения, неподвластные времени, будут жить века.

14 августа 1985-октябрь 1986 г.,  
Кемерово

---

\* Первый праздник поэзии Василия Федорова на родине состоялся: в Кемерове — 10-го, в Марьевке — 11 августа 1985 г.

\*\* Скулытор Григорий Сергеевич Трофимов.



Николай Поддубный

С РОССИЕЙ РИФМУЕТСЯ ИМЯ ЕГО



*На празднике борозды в Марьевке. Рядом с В. Д. Федоровым Н. К. Поддубный, 1982 г.*

Сегодня имя Василия Дмитриевича Федорова знают во всех уголках нашей Родины. Мы — его земляки — преисполнены великой гордости за то, что вскормила и взрастила его наша марьевская земля. Мы досконально знаем его биографию, знаем его стихи и поэмы.

Перебираю в памяти наши встречи с ним и, понимаете, ничего необыкновенного, чрезвычайного не нахожу в них. Человек этот — очень

простой, душевный. Как сейчас вижу нашу первую встречу с Василием Дмитриевичем. В конце мая восьмидесятого это было. Я только-только начал работать в «Марьевском» секретарем парткома. О В. Федорове был наслышан, но знаком с ним — только по стихам. И вот телефонограмма: приезжает Василий Дмитриевич.

Едем встречать на трассу Анжеро-Судженск — Яя вместе с секретарем райкома партии и председателем райисполкома. Волнуюсь, конечно. Машину Василия Дмитриевича замечаем еще издали, останавливаемся.

Выходит. Высокий, подтянутый, седой, улыбающийся. Обнимаемся и... целуемся. Нервного напряжения как не бывало. И сразу же о Марьевке: «Как она там? Как сев? Как люди?» Интересуется живо, искренне, без тени праздности. Расспрашивает о печнике Иване Павловиче и конюхе Иннокентии Павловиче... Таких людей — от земли — любил и уважал он безмерно. Встречался с ними запросто. Беседовал мягко, непринужденно. Был очень обходителен с ними.

Помню, два года назад отдыхал я в Измайлово, под Москвой. В. Д. Федоров в это же время — в Переделкине. И вот звонок мне: Василий Дмитриевич предлагает встретиться в его московской квартире. Специально приезжает. И главная тема беседы нашей — о Марьевке. Очень хотел он видеть ее процветающей, крепкой.

Простым, правдивым и бескомпромиссным был Василий Дмитриевич. Выйдет, бывало, на марьевские луга, глянет — сено не подобрано. Расстроится. Никаких ссылок на ненастье не приемлет.

Я сказал, что Василий Дмитриевич был простым человеком. Да, да... простым. Но это не значит вовсе, что он как-то упрощенно воспринимал жизнь. Характер у него был довольно сложный, противоречивый в чём-то. Насколько тепло и сердечно относился он к людям труда, знающим и любящим свое дело, настолько терпеть не мог под-



халимов, лицемеров, бездельников. Глубоко переживал каждую встречу с такими людьми. Помните, как у него в «Озере Кайдор»?

*Я был доверчив,  
Стал я к людям строже,  
Порой смолчу и чувства утаю.  
Я трижды был обманутым,  
И все же  
Ты мне верни доверчивость мою.*

Доверчивость, граничащая с какой-то детской незащищенностью от «крутых виражей» судьбы, хотя и рвался он всегда им навстречу, сочеталась в Василии Дмитриевиче с большим мужеством, силой воли... Перенес сложную внутриполостную операцию, инфаркт. Встречаемся с ним в областной больнице. Держится бодро, даже весело, вроде бы все страдания нипочем. А первое, о чем спросил, все то же: «Как Марьевка там?»

Мечтал непременно однажды перезимовать в Марьевке. Говорил, что очень хочет увидеть, как в морозный день идет дым из печной трубы деревянной избы.

Часто в беседах Василий Дмитриевич говорил о роли специалистов на селе. Я не во всем соглашался с мнением Василия Дмитриевича. Находил разные доводы, оправдания. Он отвергал мои возражения. Был твердо убежден: настоящий специалист, руководитель только тот, которому верят люди и идут за ним. Сравнивал с вожакom табуна коней.

И вот сейчас, когда я работаю руководителем хозяйства \*, очень часто мысленно возвращаюсь к тем нашим беседам. Осмысливаю их по-новому и так хорошо теперь понимаю правдивость и правоту каждого его слова. Да и тогда, когда работал

---

\* Директором совхоза «Улановский», расположенного недалеко от Марьевки.



*На Назаркиной горе. 1982 г.*

в «Марьевском», при возникновении каких-либо сложностей в работе, трениях с руководителем, когда непросто было найти правильное решение, шел к Василию Дмитриевичу. Как бесконечно благодарен я ему за те беседы. Он как-то по-своему воспринимал и осмысливал взаимоотношения людей, явления природы. Очень тонко чувствовал и любил дикую природу. Преподнесли ему как-то школьники букет полевых цветов. Он не обрадовался, а огорчился. То же самое — с озеленением его усадьбы. Всегда возмущался, когда замечал только что пересаженное из леса деревце, растение ли какое другое. «Погибнет оно,— говорил с болью,— не выживет, а там, на месте, росло и крепло бы».

Никогда не забыть одного урока, что преподнес мне Василий Дмитриевич однажды по дороге в Кемерово. У обочины попросил остановить машину. Вышел. Идет вдоль дороги, пристально всматриваясь в разнотравье. Поясняет: зверобой здесь должен быть, отыскать бы его...

Мы... Что там! Бросились в траву, безжалостно уминая ее ногами, за той единственной, кроме которой и не замечали ничего вокруг. И вдруг голос Василия Дмитриевича: «Что же вы делаете?» Оправдываемся, что, мол, здесь такого? Не посевы ведь топчем — сорняки. А Василий Дмитриевич: «В природе сорняков не бывает». Это сказал он мне, человеку с агрономическим образованием. Верите, до сих пор стыдно за тот случай, хоть и прошло уже несколько лет. Никогда не вычеркнуть мне его из памяти. С той поры иначе я стал смотреть на такие вещи.

Меня поражало в нем то, что и в природе и в жизни он находил и подмечал такие моменты, такие штрихи, на что другой и малейшего внимания никогда бы не обратил. Искренне восторгался жизнелюбием донника. Жалел отвергнутую коноплю. С великим почтением относился к сибирскому кедру. С кедром сравнивал даже статную

обаятельную девушку. То было в его устах высшей оценкой красоты.

Глубоко волновало его будущее природы. Сильно сказано им в «Пророчестве»:

*Я, сделав шаг  
От легкой грусти  
В мир  
Ужасающих предчувствий,  
Над черной бездною стою.  
.....  
Земли  
Не вечна благодать!  
Когда далекого потомка  
Ты пустишь по миру  
С котомкой,  
Ей будет  
Нечего погать.*

Вообще Василий Дмитриевич больше жил будущим, чем повседневным. Не позволял отвлекать себя по пустыкам. Не любил многлюдных сборищ. Ни в одну аудиторию никогда не шел неподготовленным. Считал, что любая встреча не должна быть ради самой встречи, а нести обоюдное обогащение. Помню случай. Проводил комсомол пробег байдарочников. Узнали они, что Василий Дмитриевич в Марьевке на отдыхе. Захотели встретиться. Спросил я его согласия. Он отказался: «Что я, музейный экспонат?»

Не раз, будучи и в Москве, я слышал отказы Василия Дмитриевича в ответ на телефонные просьбы редакций, издательств о встречах. Знайством это не было. Скорее, скромностью. Величайшей скромности человеком был Василий Дмитриевич. Эта черта его личности подчеркивалась неброской обстановкой его жилья, кабинета в московской квартире. Никакого излишества. Все только самое нужное. И книги, много книг...

Василий Дмитриевич никогда никого не просил о помощи. Даже если очень нуждался в ней. Помню, приехал он в Марьевку из областной больницы, после тяжелой операции. Нам хотелось, чтобы как можно меньше испытывал он неудобств. А он старался делать все сам. Даже под гору к своему родничку за водой ходил.

Говорим о Василии Дмитриевиче, но за каждым словом воспоминания о нем — незримое присутствие Ларисы Федоровны. Его судьба, его жизнь и его творчество неотделимы от судьбы самого близкого для поэта человека, жены, большого друга и сподвижника — Ларисы Федоровны Федоровой. Мягкостью характера, способностью ладить с людьми, тонко чувствовать и понимать душевное состояние лирика-поэта она создавала Василию Дмитриевичу особый микроклимат, творческую атмосферу.

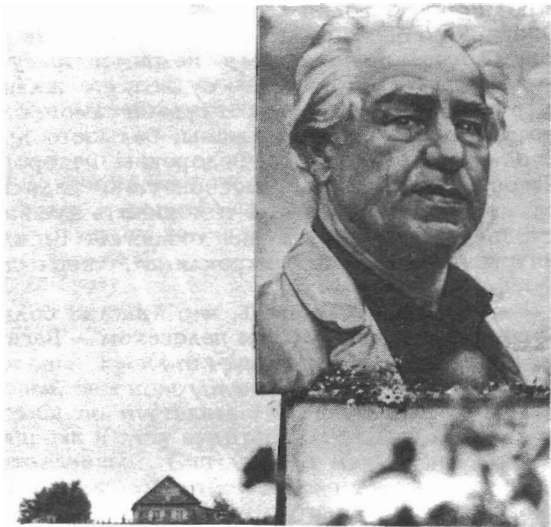
Очень тяжело сознавать, что никогда больше не увижусь я с прекрасным человеком — Василием Дмитриевичем Федоровым.

1985 г., с. Улановка

---

Герман Захаров

## СУДЬБОЙ ДАРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ



*Портрет В. Д. Федорова на празднике поэзии; вдали — домик поэта. 11 авг. 1985 г.*

Я — художник. Все, что хочу сказать, говорю в своих картинах. Поэтому сейчас я хожу по мастерской и думаю о том, что впервые мне предстоит писать о человеке не кистью, а словами. Как это непривычно для меня... Мне надо вспомнить того, кого уже нет в живых. Надо вспомнить так подробно, чтобы как можно больше стало известно о нем людям. Так осколки воспоминаний составля-

ют окончательный портрет человека. Поэтому мне сейчас так важно уйти в свою память, в те дни, когда Василий Федоров был рядом со мною, и я слышал его, видел, и мы с ним говорили. Вообще, надо вспомнить все, что связано было у меня с ним, но уже через темное стекло осознания того, что этого человека уже нет... И это обязывает к очень кропотливой, бережной работе с памятью...

В журнале «Огонек» за 1966 г. были опубликованы стихи Василия Федорова, и среди них то стихотворение, которое он сам позднее назовет маленькой поэмой — стихи «Совесть»...

С первых ее строк:

*Упадет голова —  
Не на плаху...*

я уже не смог от него оторваться. Так я отметил для себя и запомнил имя поэта Василия Федорова. А реально увидел его спустя несколько лет. Он выступал тогда на своем творческом вечере в Кемеровской филармонии. Я услышал мощный, полный сильного чувства голос поэта. По сути дела, это был его первый отчет перед земляками. Народу собралось много. Среди других стихов на этом вечере поэт прочитал и то, памятное для меня стихотворение-поэму «Совесть»... Я как бы присутствовал на ее озвучивании самим поэтом. И для меня она не просто звучала, она рождалась как бы в красках... Так произносил он слова, которые, как семя, бросила когда-то в душу сама жизнь... Я видел мятущегося поэта, чувствовал его трагическую любовь к матери «в старом мужском пиджаке, что когда-то старшой присылал ей из Томска...» И это мучительное чувство осознания, что главное-то, пожалуй, еще и не сделано...

На сцене поэт казался ростом еще выше, худощавее. Гордая посадка головы, отчего она потом казалась мне всегда чуть запрокинутой... Еще я обратил внимание на руки поэта, которые во время

чтения стихов сразу включались в жест выражения того или иного чувства... Они дублировали поэтическое слово, биение сердца поэта.

И я сказал себе, что напишу портрет этого человека. И тогда же — в зале — сделал несколько карандашных набросков в блокноте. Но главное пока отложил в памяти. Набросок — это слепок первого впечатления — то самое яркое, четкое, что сразу бросилось в глаза. Окончательно же картина — будущая картина — должна вызревать, вынашиваться длительное время. Когда мгновенное сольется с вечным — портрет будет полным, осмысленным.

Есть в Кемерове улица с очень поэтическим названием — Весенняя. На ней расположена библиотека имени Гоголя. В ее вестибюле я часто вывешивал свои новые работы.

В конце лета 1981 года Федоровы через Кемерово держали путь в Москву. То лето было для них нелегким. Василий Дмитриевич полтора месяца пролежал в Кемеровской больнице \* по поводу сердца. Поскольку они оба на какое-то время оказались в поле моего зрения, я воспользовался этим, чтобы написать их портреты. Портрет поэта был начат давно, а портрет его жены я сделал довольно быстро. И вот, когда они собрались уезжать в Москву, а я должен был вручить им портреты, я высказал желание, чтобы Василий Дмитриевич сначала увидел мои работы в библиотеке.

— Хорошо, — ответила Лариса Федоровна. — Я попрошу его, чтобы он непременно зашел.

И вот он рядом со мною. Не далеко где-то на трибуне, не в журнальном шрифте своего имени, а около меня. Энергичные пожатия рук и наш долгий взаимовзгляд, когда каждый отмечает что-то для себя о другом...

---

\* Осенью 1982 года.



Василий Дмитриевич сразу прошел к портрету Ларисы Федоровны. Это был его личный заказ написать ее «помоложе»... Что же, мне пришлось сделать экскурс в ее молодость, домыслить ее лицо... Теперь она смотрит с портрета улыбочиво-высокомерно, как и пристало молодой красивой женщине.

Он неожиданно замер перед этой работой, словно оцепенел... И опять эта чуть откинута назад седая его голова, брови приподняты. И взгляд во взгляд с портретом... Что-то боролось, спорило в его лице. Потом он как бы недовольно обернулся ко мне. Я понял: ему не хотелось, чтобы я увидел ее так, как видел когда-то он...

— Ну, что же... Будем считать, что портрет состоялся... Правда, мне придется к нему привыкать заново... Вы чуточку перестарались...

Я с огорчением принял его упрек. Огорчилась и Лариса Федоровна, вроде даже обиделась на поэта. А он уже улыбался.

— Ну, а где мой портрет? Меня вы, конечно, сделали седым?

Да. На картине он был седым. Как и в жизни. Ведь у меня не было задачи вернуть его в молодость...

Картина заключалась вот в чем: сломанное — бурей ли, временем ли — мощное дерево. И поэт, опустив голову и глядя куда-то в сторону, положил свою руку на место слома...

Мне как художнику интересно было наблюдать за человеком, который изучает свой образ, созданный другим человеком. Этот его взгляд на себя со стороны. Но не скрою — это была мучительная для меня пауза. Я почувствовал, что время исчезло, изображение стало физически осязаемым.

Одной из главных черт федоровской поэзии я считаю постоянное стремление поэта осознать себя, смысла своей жизни, свои возможности... Поэтому я изобразил своего героя так, чтобы

образ соответствовал его внутреннему миру, его духу, мыслям. Символ всего преходящего — мудрое, изборожденное морщинами дерево, рухнувшее, несмотря на свою мощь... Потому что сила времени беспощадна и сокрушительна. И человек, державший свою руку на сломе рухнувшего дерева, осознает конечность всего, и поэтому, думая о своем будущем, он думает прежде всего о максимальной самоотдаче, которая единственно может оправдать целесообразность отпущенного тебе на земле срока...

— Да... Это я... Тут, как говорится, у вас попадание точное... Любопытно, любопытно...

Похвалил исполнение. И у меня отлегло.

Всегда трудно объяснить возникновение замысла. Почему я вдруг решил написать портрет именно этого человека, этого писателя, поэта? Ведь читаешь же стихи и других авторов, и стихи их тоже волнующи, так что потом берешь гитару, чтобы попробовать переложить их на музыку. А вот мысль «напишу-ка я его...» не возникает. Здесь какие-то особые связи художника с самой личностью «натуры». Они незримые, подчас непонятные мне самому, но я чувствую их и знаю, что создам портрет этого человека, который оказался близким мне. Портрет поэта — это мое прочтение его стихов.

В 1982 году я написал еще один портрет Василия Федорова, где за его спиной — далеко над суровым обрывом — застыл огненный конь...

— Откуда вы узнали, что в нашей Марьевке есть такой красный конь? — спросил меня поэт, когда увидел картину.

А я и не знал, что такой конь есть. Так и сказал. Но он отнесся к этому с недоверием. Даже вопросительно посмотрел на жену: не ты ли, дескать, «подказала»? Нет, не она! Это было необъяснимо. Я просто догадался, что на марьевских просторах должны пастись вольные табуны, а у табуна должен быть свой вожак...

Не люблю, когда меня спрашивают: «Что вы хотели сказать этой картиной?» Что хотел сказать, то и сказал. Это уже ваше дело принять мою картину или не принять. Ведь невозможно, например, объяснить словами музыку. Каждый слышит ее по-своему. Так и картину каждый воспринимает в меру своей фантазии. Портрет с конем оказался последним прижизненным портретом.

На следующий год, вернее на следующее лето, Федоровы опять жили в Марьевке... Но большую часть времени Василий Дмитриевич лежал в нашей областной Кемеровской больнице. Он перенес серьезную операцию. Вернуться в Марьевку в этот год Федоровым уже не пришлось. Прямо из больницы жена поэта заходила в библиотеку — переменить взятые книги, которые она в больнице читала мужу вслух. Попутно и мы, находившиеся там, — каждый по своему делу — имели возможность узнать о состоянии здоровья поэта. Вести пока что были не радостными.

— Здесь, в Кемерове, удивительные врачи. И в Яйской больнице тоже лечили хорошо. Да он и сам борется за свою жизнь. Даже курить стал меньше... — говорила жена поэта.

— А есть ли у него какие-нибудь замыслы? — спросил я.

— Конечно, есть! Он думает о новой поэме. Она будет называться «Братья и сестры» — это о семье Федоровых... Задумана эта вещь давно, но о самых близких людях писать трудно. Вот все и откладывал... А сейчас появилась боязнь: вдарул вообще не успеет?..

— Вы должны уводить его от этих мыслей.

— Стараюсь... Вот скоро поедем на реабилитацию сердца в профилакторий «Сосновый бор» — там хороший воздух, другая, не больничная обстановка...

Ему предстояла та — вторая, самая ответственная операция.

Вот в это время и задумал я написать еще

один портрет Василия Федорова. Врачи врачами, но и мне как художнику, влюбленному в его творчество, полагалось выразить к нему свое отношение. Скорее всего это должно было стать выражением энергии духа в красках...

Фоном я взял как бы мировой воздушный океан. И поэт парит над ним, а может быть, и над «девятым валом» своей жизни, как буревестник... Руки его раскинуты широко — они распластаны, словно крылья... Рубашка — ярко-красная. Никакую иную тут я помыслить не мог. Ибо красный цвет для меня — и энергия и сила духа одновременно. Это еще и смелость, отвага. Лицо запрокинуто в небо. В нем собрана вся воля к жизни, к замыслу...

Поэт не увидел этой картины. Когда Федоровы уезжали к новому 1984 году в Москву, полотно еще не было закончено... Не хватало каких-то штрихов, рамы... Но энергию духа я все-таки воплотил и был рад, что поэт одолел свой рубеж хирургического риска. Я верил, что он будет жить и что мое собственное усилие, вложенное в этот необычный по форме портрет, в какой-то мере помогло поэту...

В Москву мы провожали Федоровых уже в декабре. Они увозили с собою два моих портрета: Василия Федорова с конем на обрыве и портрет жены поэта, читающей стихи на фоне сибирского пейзажа. После больницы Василий Дмитриевич был еще бледен, худ и как-то по-новому значителен — как человек, заглянувший в одну, только ему известную, бездну... Пока я был в купе, пристраивая два портрета в верхний багажник, я старался запечатлеть в своей памяти лицо поэта. Я всегда так делаю — с кем бы я в таких случаях не расставался... Память художника — это тоже как альбом для набросков, но только незримых...

Потом, дожидаясь отправки поезда, уже попрощавшиеся, мы, провожающие, стояли на морозном перроне и сквозь замерзшее — как бы кружевное — окно вагона угадывали силуэты тех

двоих, которым предстояла дорога на Москву.

В 1985 году, уже после кончины поэта, решено было провести Федоровские чтения как общекузбасский праздник его поэзии. Поскольку праздник из Кемерова должен был продолжиться на марьевских лугах, мне поручили написать большой — размером два метра на три — портрет поэта. Я с радостью согласился. В это же время я писал еще один его портрет в подарок Ларисе Федоровне.

Тот портрет, что по заказу общественности, уже по размерам своим диктовал мне придать ему черты величавости...

Пока прописывал черты его лица, почему-то неотступно вспоминал две строчки из его «Совести»:

*Слышишь, мама, в Сибири поют петухи...*

*А тебе далеко возвращаться обратно...*

Эти ожившие строки определили мое состояние во время работы, определили саму работу, закрепляли, вели линии и определяли выбор цвета... Как все взаимосвязано! Создание портрета — не просто достижение художником внешнего сходства. Обязательно должна быть наполненность, внутренний мир, истоки мысли — в изображенном человеке, одним словом, то, чем ведом человек. Писать человека надо таким, каким он остался в памяти.

Надо сказать, что заказ я получил задолго до праздника поэзии. Но я все не приступал к нагрунтовке холста. Я собирался с духом. Ведь Василий Дмитриевич ушел из жизни, но живым остался в моей памяти. Как это соединить? Написать быстро можно только «производственный» портрет. Таким заданием я бы и не соблазнился. Отнюдь не умаляю эту тему, но ведь в нее художнику надо проникнуть так же, как мы проникаем в душу поэта — через его стихи, его характер.

Мастерской тогда у меня еще не было. Отвели

самую большую комнату в Доме актера. Закрылся я вдвоем с холстом, а начать все не могу. Знаю лицо поэта как свое собственное и натуру его знаю, но вот никак не приходит первая линия... И тогда я вспомнил еще одну встречу с поэтом в библиотеке имени Гоголя, что по Весенней улице. Это было в 1983 году. Зная, что Василий Дмитриевич не очень доволен «молодым» портретом жены, я решил написать портрет Ларисы Федоровны более приближенным к ее теперешнему возрасту... Я часто наблюдал, как она читает свои стихи, заметил ее характерные жесты и решил использовать эти наблюдения в новом портрете. И опять приурочил окончание своей новой работы к моменту их возвращения в Москву, когда они непременно заезжали дня на два в Кемерово.

Я сам позвонил поэту и пригласил его в библиотеку. Он пришел туда один (Лариса Федоровна посмотрела мою работу днем раньше).

К моей радости новая моя работа понравилась поэту.

— А что? Неплохо, неплохо! Схвачено точно. Она говорила мне, что портрет удачен, но я к ее оценкам отношусь скептически, она человек восторженный... Однако и впрямь вы преуспели! Поздравляю! И все-таки вот здесь...

Он встал с кресла и, подойдя к портрету, очень деликатно коснулся мизинцем свежей еще краски:

— Подбородок несколько утяжелен... Чуть-чуть снять... А впрочем, можно и так оставить... Время ведь тоже свое добавит.

Последняя фраза сорвалась у него как-то горько... Поэт знал жестокость штрихов неумолимого времени.

Потом мы заговорили об искусстве, об огромных затратах энергии, которых всегда требует сам процесс творчества. Незабываемый разговор!

И вдруг!.. возник на белом холсте тот самый поворот головы в моменты, когда он там, в библиотеке, поворачивался ко мне... Это было как

озарение: его контур, четко ясный, неуходящий! Я начал быстро делать рисунок. За пять-шесть часов лицо поэта, выражение его было найдено. Еще неделя, и портрет закончен. На всем протяжении работы я никого не допускал в отведенную мне комнату. Даже актеров-новосибирцев, в чьем городе он провел свою юность. Кажется, они обиделись на меня, но я не мог впустить их... С той стороны двери они доказывали мне, что гастроли их закончились и они завтра должны уехать и потому хотят взглянуть на поэта. А я им отвечал, что портрета еще нет, есть только невоплощенный замысел, а замысел не показывают...

Наконец я сказал себе, что портрет готов. Но и в этот день я никого не впустил в комнату, даже самих хозяев нашего великолепного кемеровского Дома актеров... Потому что этот день по моей традиции был Днем Созерцания готовой вещи. Это был экзамен самому себе, проверка цвета и линий.

Жена покойного поэта назвала этот портрет «Небесным». В нем вместе с сединою поэта преобладали голубые тона...

Установленный на помост посреди марьевских лугов, он был виден с крутизны Марьевской гряды. Более пятнадцати тысяч поклонников его таланта, прибывших на Федоровские чтения, смотрели на умиротворенное лицо поэта, который всю свою жизнь спрашивал себя, достойно ли он послужил своему народу.

Сейчас этот портрет находится в марьевском музее. На противоположной стене помещен другой его портрет — у сломанного дерева. Они как бы дополняют друг друга. Там же и портрет «Буревестника».

1986 год



Валентин Махалов

## НАЕДИНЕ С ПАМЯТЬЮ



*В. Д. Федоров на крыльце своего дома в Марьевке. В центре — И. Д. Мяленко, секретарь Яйского райкома партии, справа — В. Махалов. 1972 г.*

Вспоминаю один из наших разговоров с Василием Дмитриевичем.

Умер Твардовский. Страна едва успела отгoreвать о своем великом поэте — появились воспоминания. В газетах, в журналах тонких и толстых. Писали люди, которые хорошо знали Твардовского, и те, кто жили в стороне от его боль-



шой и сложной человеческой дороги, были сторонними свидетелями его многотрудной судьбы.

Василий Дмитриевич был из тех, кто близко к сердцу принимал все, что касалось Твардовского, горячо и уважительно относился к его высокому таланту, гордился добрым знакомством с поэтом. Наверно, потому всю эту послепохоронную поверхностную суету вокруг имени Александра Трифоновича воспринимал с откровенной неприязнью.

Как-то в Марьевке, очевидно, только что прочитав какие-то очередные воспоминания о поэте, он сказал раздраженно:

— Будто при жизни не знали, что Твардовский поэт великий. Народ это знал, а они не знали. А сейчас, видишь ли, догадались...

Потом, успокоившись, он снова вернулся к этому разговору:

— А писать о Твардовском надо. Только без сюсюканья. Всю правду. Пусть даже она порой тяжела. Сам он эту правду нес в стихе и в сердце. Нес до конца своих дней. По-солдатски...

И после короткой паузы добавил:

— И мне хочется написать о нем. Мы с ним все-таки не чужими были, хотя в наших отношениях случалось всякое. И нелады были. А запомнилось более существенное...

И он рассказал мне несколько эпизодов из жизни поэта, которые, как я понял, он знал далеко не понаслышке. Василий Дмитриевич не написал того, о чем вспоминается мне сейчас. А может, написал и все это осталось в черновиках. Опубликовать, по крайней мере, свои воспоминания о Твардовском он не успел. Да, не успел...

Не раз я думал об этом нашем не столь уж давнем разговоре с Василием Дмитриевичем, пока решил взяться за рассказ о моем старшем товарище и учителе. Мне казалось, что пусть о нем скажут первыми слово люди, которые знали поэта лучше меня. Но постепенно пришло внутреннее оправдание: многое из того, что я знаю об этом

человеке, не знает никто или почти никто. А значит, умолчание мое будет неправомерным. Память о прекрасном русском поэте Василии Федорове должна быть как можно более правдивой и цельной. Ее надо собирать по крупицам, собирать общими силами с глубокой совестью и тщанием, дабы не исказить облик Поэта.

Мои воспоминания о Василии Дмитриевиче Федорове будут носить дробный характер. Я сознательно пошел по этому пути, посчитав, что из частных легче воссоздать общее, чем разглядеть эти частности в монолите.

1963 год. Всероссийское совещание молодых поэтов. В числе тридцати с небольшим участников совещания и мы, двое кузбассовцев, — Виктор Баянов и я. Оба порядочно трусим. Это первый наш серьезный выход «на народ». Виктору еще труднее — он впервые в Москве.

Первый день совещания. Небольшой зал густо набит молодежью. В президиуме — видные советские поэты. Идет шепоток среди участников: «Вон тот, видишь, Смеляков. А рядом Борис Ручьев. Второй справа — Василий Федоров...» Знакомые, давно любимые имена. С любопытством разглядываю Василия Федорова. За полгода до этого готовил по его стихам телевизионную передачу. Мне всерьез нравились его стихи, манера его письма, сдержанная и в то же время раскрепощенная до открытой естественности...

Лицо Василия Дмитриевича мне показалось тогда усталым и немного печальным. Я хорошо видел его с третьего или четвертого ряда. Широкие кустистые брови чуть насулены, грива густых седеющих волос раскосмачена.

С докладом выступает Сергей Наровчатов. Все мы полны внимания — идет разговор о русской поэзии последних лет, о ее достижениях и просчетах. Дошла в докладе очередь и до наших

стихов. К нам, молодым, докладчик был настроен довольно миролюбиво и, пожалуй, больше похваливал, чем ругал наши творческие сочинения.

Дважды упомянул он и мое имя. Упомянул по доброму и даже процитировал несколько строк из моего стихотворения «Глобус». При этом он назвал меня поэтом-«кемеровцем», что прозвучало немного непривычно для меня. Все-таки мы привыкли считать себя «кемеровчанами»...

Привожу эту деталь только потому, что вспомнилось, как среагировал на слово «кемеровец» Василий Дмитриевич. Оно как будто пробудило его от какой-то внутренней задумчивости и отрешенности, он вскинул голову, взглянул сначала на Наровчатова, затем окинул зал широким заинтересованным взглядом. В этот миг мне счастливо подумалось, что поэт искал «своих» — в то время я уже знал, что местом его рождения было Кемерово. Значит, не забыл он свою малую родину, далекую теперь от него Сибирь.

Моя догадка подтвердилась чуть позднее, когда стали представлять участников совещания. С Виктором Баяновым мы сидели вместе, и председательствующий (не припомню, кто это был) представил нас вместе, друг за другом. При этом Василий Дмитриевич глядел на нас с откровенным любопытством, и, как мне показалось, испытующе...

В этот же день начались семинарские занятия, а проще говоря — литературная учеба у мастеров слова. Все шло своим чередом. О моих стихах говорил кто-то из критиков, потом обстоятельно выступила Юлия Друнина, а вот моему другу Вите Баянову в тот раз явно не повезло. По его стихам готовился выступать замечательный советский поэт Борис Александрович Ручьев, но в последний момент Ручьев приболел, и выступление его не состоялось. Мы с Витей порядком расстроились, хотя в тот же вечер нам посчастливилось увидеться с Борисом Александровичем

в его номере. И там состоялся долгий и запоминающийся разговор с поэтом. Мы читали ему свои стихи, потом Ручьев читал нам многое из неопубликованного. Автор знаменитого «Красного солнышка» (за эту книгу поэт был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР) очень тепло принял нас, хорошо и подробно говорил о стихах Вити Баянова. Правда, было немножко жаль, что эти слова прозвучали не с трибуны...

С Василием Дмитриевичем мы встретились на другой день. Встретились, можно сказать, случайно — в коридоре в перерыве между семинарскими занятиями. С кем-то он сидел на диванчике, мы с Витей проходили мимо, и он, заметив нас, позвал к себе.

Я не запомнил толком этот короткий разговор, но в памяти осталось: говорил с нами Василий Дмитриевич просто, по-землячески, ободряюще. Расспрашивал о Кузбассе, о своих родных местах, о литературной жизни в области, о наших старших товарищах по перу, которых он знал. Особо спросил об Евгении Сергеевиче Буравлеве. С ним, как оказалось, его связывала давняя непрерывающаяся дружба. Под конец разговора поэт сказал:

— Думаю будущим летом побывать на родине. Тянет меня туда.— Потом, как-то заметно погрузнев, тихо, будто для себя, добавил: — От этой сутолоки тянет...

Не знаю, побывал ли на будущий год Василий Дмитриевич в родной ему Марьевке. В ту пору он навещался туда, минуя Кемерово, через Новосибирск, где у него тоже жили близкие родственники. Следующая моя встреча с поэтом произошла почти через три года.

В 1966 году в Кемерово проходил зональный семинар молодых литераторов Урала и Западной Сибири. Его участники, молодые прозаики и поэты,



*На IV Всесоюзном совещании молодых писателей. Справа налево: В. Федоров, Т. Бембеев, С. Хохлов, Ю. Акобиров, Н. Тихонов, Л. Черепахова, А. Твардовский, М. Исаковский. 7 мая 1963 г.*

были разбиты на несколько отдельных семинаров, которыми руководили ведущие прозаики и поэты России. Антонина Коптяева, Сергей Антонов, Ярослав Смеляков, Дмитрий Ковалев, Леонид Решетников и другие. Одним из поэтических семинаров руководил Василий Дмитриевич Федоров.

В перерывах между занятиями участники, переговариваясь между собой, отмечали: «Очень интересно у Федорова и Смелякова. Там спорят по сути. Если хвалят — за дело, а снимают стружку, так по большому счету».

Писатели моего поколения, связанные жизнью своей с Уралом и Сибирью, уверен, согласятся со мной в том, что Кемеровский зональный семинар вывел на широкую литературную дорогу большой и крепкий отряд одаренной творческой молодежи, которая является сейчас костяком писательских

организаций зауральского региона страны и во многом определяет сегодняшний день и творческий уровень литературного движения этого края. Голоса многих тогдашних семинаристов хорошо слышны теперь всесоюзному читателю.

В дни семинара с Василием Дмитриевичем мы встретились всего два-три раза, встретились уже как добрые знакомые. Особенно я почувствовал это во время прощальной встречи, когда вместе с моим старым другом Евгением Буравлевым беседовали с Федоровым сначала за дружеским столом, а потом долго бродили по Притомской набережной и притихшим улицам вечернего города.

Помню, у Василия Дмитриевича было хорошее приподнятое настроение, он легко переходил от серьеза к шутке, с душевной теплотой говорил о приглянувшихся ему молодых поэтах-семинаристах. С особой расположенностью отозвался о челябинском поэте Вячеславе Богданове:

— Надежный паренек. И ростом мал, но удал. Слово чувствует, за землю держится крепко. Без всяких литературных пузырей...

Через десять с небольшим лет в один из своих приездов в Марьевку, на родину поэта, я застал его в удрученном состоянии. Печально и как-то виновато Василий Дмитриевич сказал:

— Умер Слава Богданов. Телеграмма пришла. Совсем еще молодой...

Последняя фраза была похожа на глубокий вздох.

Мне не однажды приходилось слышать о том, что Федоров с большой настороженностью относится к молодым литераторам, что он никому не помог «выйти в люди». Подобное мнение мне кажется глубоко ошибочным. Только в моей памяти удержалось более десятка примеров, свидетельствующих о неподдельном внимании поэта к творческой молодежи. Говорили мне об этом молодые поэты Киева, Новгорода, Горького, которым он помог добрым делом и участием в их

творческом становлении. А уж о поэтах-сибиряках и говорить нечего. Многие из моих сверстников, да и поэты более младшего поколения не обделены были его любовью и вниманием. Алтайские поэты Николай Черкасов и Александр Родионов, кемеровчане — Виктор Баянов, Владимир Матвеев, Владимир Иванов, Николай Колмогоров — всех их, пусть не в одинаковой мере, коснулось доброе расположение Василия Дмитриевича. А Виктора Баянова он попросту любил и всегда высоко ценил его поэзию.

И все-таки в молве о нем, как о человеке сдержанном, не допускающем фамильярности и панибратства, умеющем вовремя одернуть и поставить на место чересчур расторопного молодого поэта, была своя правда.

Да, Василий Дмитриевич всегда нетерпимо относился ко всякого рода литературной суете и толкотне, физически не выносил расчетливое подхалимство и отвечал на это чаще всего с нескрываемой прямоотой или откровенной замкнутостью и отчуждением.

Его можно было понять как человека и поэта, которому пришлось самому торить свой нелегкий путь в большую литературу. Он никогда не прятался за чьими-то широкими плечами, не искал себе опекунов и покровителей. Единственными его помощниками на пути к признанию были неустанный труд ума и сердца, крепкий сибирский характер да высокий человеческий талант, который достался ему от матери природы. Наверно, поэтому однажды он обмолвился в общем разговоре: «Не люблю молодых поэтов с острыми локтями, которые с усердием, достойным лучшего применения, рвутся к свадебному пирогу».

Он имел полное право на эти слова. •

Прошло еще шесть лет с того памятного за-нального семинара.

В эти годы мои встречи с Василием Дмитриевичем были редки и, как правило, необязательны и кратковременны. То мы случайно встречались в Москве в Центральном доме литераторов, то в Марьевке у его родни. Именно в те годы Федорсов задумал строительство дома на родине. К этой своей затее поэт отнесся со всей серьезностью. Он мечтал поставить светлый просторный дом на высоком берегу озера Кайдор. В дружеских разговорах у Василия Дмитриевича проскальзывало плохо скрытое желание вести строительство дома самому, по своему проекту, идя на поводу своей фантазии. Мы, его друзья и товарищи, обещали ему свою посильную поддержку, хотя вряд ли у кого из нас был достаточный опыт в плотницких делах. Да и у самого поэта, если и был какой опыт, то с годами наверняка утратился. Зато мечтам была дана полная воля...

Василий Дмитриевич по-детски радовался новому жилью, хотя дом был построен несколько наспех, с большими недоделками. И потому несколько комично выглядел в этом доме его хозяин, затыкающий щели между бревнами носовыми платками во избежание сквозняков.

Позднее дом немного подлатали. И Федоровы усердно занялись устройством усадьбы.

Весной 1973 года по придумке Евгения Сергеевича Буравлева была создана творческая бригада из трех поэтов и одного художника, перед которой была поставлена определенная цель — подготовить серию поэтических репортажей для областной газеты «Кузбасс» о том, как встречает новую весну трудовой Кузбасс. Бригаду набирал Евгений Сергеевич. В нее вошли — Виктор Баянов, я и молодой одаренный художник Коля Бурцев. Была тщательно разработана программа поездки, итогом ее замышлялась книга, которой придумали подходящее название «Дыханье земли родимой...» Работу решено было начать с севера области,



с аграрных районов. В этом был смысл — шел весенний сев.

— Предлагаю начать поездку с Яйского района, а точнее, с Марьевки, — сказал Евгений Сергеевич. — С родины нашего поэта. Я знаю, Василий Дмитриевич уже там, на своей Назаркиной горе.

Помню, нагрянули мы к Федоровым несколько неожиданно. Даже Лариса Федоровна, жена поэта, всегда до краев заряженная оптимизмом, и та чуточку растерялась. Суматошно бросилась в магазин за продуктами. И напрасно мы ее удерживали, говоря, что кое о чем позаботились сами. В наших походных чемоданах и сумках и впрямь был кое-какой запас.

Гостеприимству хозяев в этот вечер не было предела. Чего только не раздобыла Лариса Федоровна из своих потайных сусеков. Длинный стол, сделанный из цельной кедровой плахи, гордость Василия Дмитриевича, был богато сервирован. На нем счастливо уживались отварная картошка, грибки и квашеная капуста с московскими деликатесами.

Сам поэт был явно в хорошем настроении, чуть подтрунивал над излишней хлопотливостью жены, расспрашивал нас о целях нашей поездки, одобрительно кивал.

Этот вечер мы как-то сообща посчитали своеобразным новосельем Федоровых на Назаркиной горе. Разговор наш затянулся за полночь. Уже угомонились Коля Бурцев и Витя Баянов — ушли спать на веранду, отгремела на кухне посудой Лариса Федоровна, начал потихоньку подремывать и я. И только Василий Дмитриевич и Женя Буравлев долго еще продолжали негромкий разговор «за жизнь», вспоминая им одним известные житейские истории, давние знакомства и не столь давние потери...

Никто из нас не знал тогда, что не пройдет и двух лет — тяжелая болезнь оборвет жизнь Евгения Сергеевича, талантливого поэта-сибиряка, че-

ловека сложного, неоднозначного и, в то же время, резко очерченного характера, моего старшего товарища и друга.

Василий Дмитриевич стал наезжать в Марьевку ежегодно. И дорога его в родную деревню теперь уже пролегла не через Новосибирск, а через Кемерово. Пожалуй, так было удобней. До Кемерово — самолет, а дальше — менее трех часов машиной, и дома. Да и в Кемерово семью Федоровых встречали всегда с большим радушием. В Кузбассе у Василия Дмитриевича появилось



*В Марьевке. 1978 г.*

немало новых друзей и знакомых, а для Ларисы Федоровны Кемерово стало прямо-таки родным местом. Ее непритворную общительность и милый характер по достоинству оценили не только мы сами, но и наши жены, близкие, знакомые. Она стала своим человеком в библиотеках, книжных магазинах, завела добрые знакомства в вузах и театрах.

В эти годы стали более частыми и мои встречи с поэтом. Вместе с друзьями я встречал его в Кемерове, проводил вместе с ним целые вечера, иногда семьями, провожал его в Марьевку. Приезжал он обычно в первой половине июня, но ровил, как он любил выразиться, угадать на молодую колбú. Зачастую и колбú эту мы собирали вместе на давно уже облюбованных местах. Собирал он эту целительную травку, иногда он называл ее «витамином», с любовью и, я бы сказал, с хорошим знанием дела и уважением. Никогда не жадничал, хотя и рвал ее немножечко про запас с тем, чтобы довести потом до Москвы, угостить там сибирским лакомством приятственных ему людей...

Помню, Василий Дмитриевич искренне переживал потерю Евгения Буравлева, при случае всегда с теплотой вспоминал о нем как о близком по духу человеке и поэте. Со временем я заметил, что после смерти Жени Василий Дмитриевич стал значительно проще и открытей со мной, мне иногда, грешным делом, казалось, что он как бы отделяет меня от всех других сибиряков-поэтов, более внимателен ко мне, более доверчив. Думаю, что в такие минуты он пробовал найти во мне то, что было для него во многом утеряно с уходом Жени Буравлева. К Вите Баянову он относился с прежней любовью и расположением, хотя встречались они в эти годы не так уж и часто.

Всякий раз, приезжая в Сибирь, поэт звал меня погостить в Марьевку. И я не однажды загляды-

В тот раз Василий Дмитриевич был в заметно удрученном состоянии. Он и Лариса Федоровна встретили нас как всегда радушно, но я не увидел в глазах поэта столь дорогой для меня открытости, марьевской здешности, бодрости духа. Улучив момент, все понимающая Лариса Федоровна шепнула мне:

— Не в настроении он в эти дни. Что-то не заладилось с поэмой — вот он и мается, места себе не находит...

— Может, не вовремя мы?

— Что вы? — замахала руками Лариса Федоровна. — Он людям всегда рад. Вот только, что в душе творится, скрыть не может. Жалко мне на него такого смотреть.

Я помнил, что Василий Дмитриевич работает в последнее время над завершением своего «Дон-Жуана», отрывки из которого я слышал в его прочтении, и по простоте душевной считал, что у такого, как он, мастера все должно получаться по самому высокому счету. А выходит — получается не все, что-то выпадает из рук, не уступает, не поддается атаке ума и сердца.

Недолго погостив у поэта, мы, было, уже засобирались домой, как вдруг Василий Дмитриевич, будто стряхнув с плеч какую-то, одному ему ведомую тяжесть, остановил наши сборы:

— Знаете что, не отпускаю я вас домой на ночь глядя. Давайте-ка, оставайтесь ночевать. А сейчас поедем на речку. Купаться. Выкупаемся — усталость как рукой снимет.

Мне показалось, что последнюю фразу он сказал самому себе. Купание в прохладной яйской воде и впрямь на всех нас подействовало благотворно. Поддался общему хорошему настроению и поэт. Мокрый и посвежевший, с обмотанным вокруг головы полотенцем, он сидел на раскинутом байковом одеяльце, поджав под себя ноги, похожий на бедуина, и читал нам новые стихи, серьезные и полшутливые, которые были напи-

саны им в Марьевке. Я слушал его и чувствовал, как яснее душа поэта, как бы набираясь новых сил от земли родимой...

А вскоре после этого в издательстве «Современник» вышла отдельной книгой эпическая поэма Василия Федорова «Женитьба Дон-Жуана», потом она была издана массовым тиражом в «Роман-газете».

Прочитав поэму, я понял, какую громадную напряжения сил и ума потребовало это замечательное произведение от уже немолодого поэта, поэзия которого не только не постарела, но и приобрела новые молодые качества, завоевала новые высоты.

Василий Дмитриевич всегда сторонился лишнего внимания к себе. Превеликого труда стоило уговорить его выступить по местному телевидению. А сколько маяты пережили работники Кемеровской телестудии, задумав снять фильм о поэте. Он никак не хотел да и не мог позировать перед камерой. И только когда съемки приобрели доверительную естественность, когда он по-доброму пообвыкся с телевизионным народом, стало что-то получаться, хотя на будущие результаты съемок он смотрел скептически.

Мне кажется, не очень любил он и выступать с чтением своих стихов. На встречи с читателями шел всегда с большим трудом, особенно тогда, когда они ему казались не очень обязательными. Но были и исключения. О них я и расскажу.

В середине семидесятых годов в Яйском районе проходили встречи поэтов Кузбасса с сельскими тружениками. По предложению райкома партии одну из встреч решено было провести в Марьевке, пригласив на нее Василия Федорова и его жену Ларису Федоровну — профессионального прозаика и поэта. Смущало только одно: уж очень плохонький клуб был тогда в совхозе «Марьевский».

Но после некоторых размышлений решили так: Василий Дмитриевич человек свой — поймет.

Федоров и его жена приглашение приняли. Не могли же они отказать своим землякам!

Встреча началась поздним вечером. В маленький деревянный клуб народу набилось теснехонько. Все шло своим чередом. Мы читали свои стихи. Сельчане дружно аплодировали. И тут случилось неожиданное: яркий высверк молнии осветил окна, ахнул гром, и тяжелый ливень ударил по крыше клуба.

— Слово предоставляется нашему дорогому земляку поэту Василию Федорову, — выдержав паузу, сказал председательствующий.

Громкие аплодисменты слились со вторым раскатом грома. Василий Дмитриевич в этот грозовой вечер читал по-настоящему вдохновенно, а природа будто вторила его стихам, поддерживала их. Его голос то затихал, то креп в напряженной тишине зала.

Внезапно погас свет. Наверное, его отключили из-за сильной грозы. Но замешательство в зале было недолгим. Откуда-то принесли свечи, зажгли. Вечер продолжался. Закончив чтение, Василий Дмитриевич довольно улыбнулся:

— Видно, природа решила проверить, хорошо ли помнят поэты свои стихи. Так что давайте держать экзамен!

И все мы снова по кругу читали свои стихи. Полутемнота создала особое настроение в зале. Встреча прошла к общему удовольствию великолепно. Закончилась она, когда отгромыхала гроза, а в зале, несколько раз мигнув, загорелся свет...

Вспоминается и совсем уж не столь давнее. Лето 1980 года. Василий Дмитриевич, что называется, в зените своей поэтической славы. Творчество его отмечено Государственной премией СССР. Одна за другой издаются и переиздаются его книги, о его поэзии много говорят и пишут.

Но поэт по-прежнему скромнен и как бы сторонится своей широкой известности.

Уже давно шел разговор о его большом авторском вечере на родине, в Кузбассе. Вроде бы и время выбрали подходящее, и место для вечера подходящее — концертный зал Кемеровской филармонии, а поэт долго не решается выступить перед своими земляками. Друзьям признается честно: «Давно не выступал на людях. Вдруг ничего не получится».

И все-таки вечер состоялся. Надо было видеть, как нервничал Василий Дмитриевич перед его началом, переживал, что будет мало слушателей, что все может закончиться неудачей.

Вечер начался при густо набитом народом зале. Не было ни одного свободного места, кто поизворотливее — тащили откуда-то стулья, пристраивались в самых неожиданных местах, проходы были заполнены. Как выяснилось после, в зал попали далеко не все желающие увидеть и послушать любимого поэта.

Василий Дмитриевич вышел на сцену под шквал аплодисментов и под треск сломанных под натиском стульев. К его ногам полетели букеты цветов. После коротких приветственных слов, сказанных в его адрес, поэт начал читать стихи. Поначалу чувствовалось, что он с трудом преодолевает волнение, потом речь его стала свободнее, голос набрал силу.

Более двух часов продолжался этот незабываемый вечер. Поэт читал лучшие свои стихи, читал на свой выбор, читал по просьбе аудитории, отвечал на многочисленные вопросы и записки читателей. Охапки цветов, восторженные аплодисменты были благодарностью ему за это.

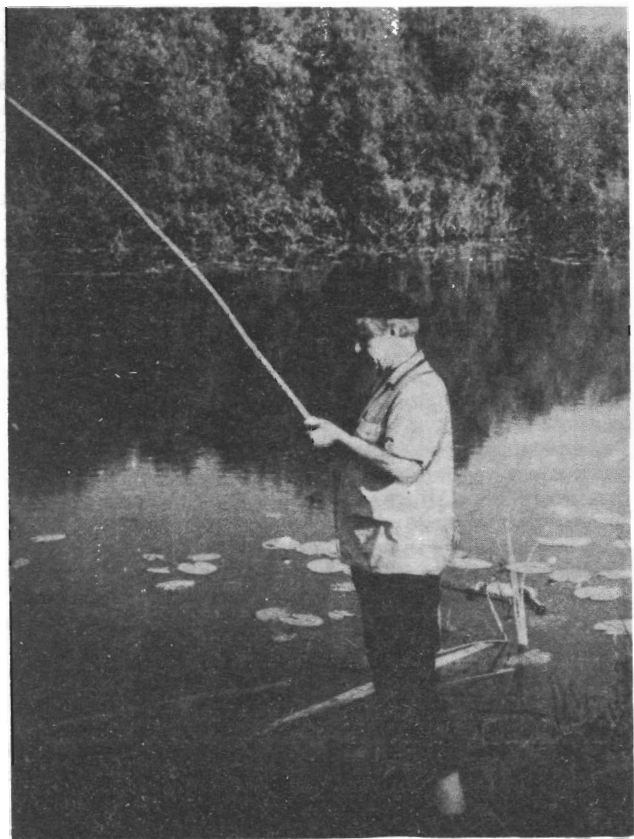
Василий Дмитриевич был натурой увлекающейся. От него я слышал, что в молодости он с азартом играл в шахматы. Мне не однажды слу-

чалось видеть его за игрой в бильярд. Помню, как расстраивался он после проигрышей, особенно не очень сильным соперникам. Но все эти страсти относились, так сказать, к городским делам. А вот к рыбалке у него страсть была врожденная, марьевская, непреходящая. Конечно, с годами она немного поулеглась, но иногда просыпалась в нем с прежней молодой силой.

Обустроившись в доме на Назаркиной горе, поэт первым делом запасся всеми необходимыми для рыбалки снастями: купил удочки, спиннинг и даже приобрел где-то сделанные на заказ сети. Он прямо-таки мечтал о хорошей удачливой рыбалке. К этому, как ему казалось, располагали поросшие камышом, резучей осокой и травой мокрушей богатые воды озера Кайдор, а также легкоструйная с перекатами и заводьями речка Яя.

Но реальная действительность оказалась намного скупее мечты поэта. До сетей дело так и не дошло. Может, не очень умел ими он пользоваться, а возможно, земляков немножечко стеснялся, как бы то ни было — щуки, караси и лини Кайдора не понесли от него урона. А на червяка и другую наживу рыба в Кайдоре да и на Яе клевала не очень-то охотно. За утреннюю или вечернюю зорю приходилось довольствоваться десятком, а то и меньше, пескарей да ельчишек. Но поэт это не расстраивало, он продолжал верить в рыбацкую удачу, а меня порой уверял, что рыбы в реке и озере пропасть, только надо уметь ее взять. И он, пожалуй, был прав. При общем старании без вечерней ухи мы оставались редко. В Марьевке пришло к Василию Дмитриевичу и еще одно несколько неожиданное увлечение. Он стал собирать березовый кап. Часами ходил по окружным березовым колкам и рощам, высматривая диковинные наросты на теле деревьев. Он знал, что кап — прекрасный материал для всякого рода поделок. В руках опытного мастера густо свитый из древесных жил березовый нарост может пре-





*На Кайгоре. 70-е гг.*

вернуться в изящную деревянную чашу или вазу с затейливым орнаментом самой природой задуманного рисунка, пронизывающего их тело.

Возле дома поэта, в его мастерской-слесарке, пристроенной к баньке, появились большие и малые капы, для несведущего глаза похожие на обыкновенные коряги. Но особенно поражал воображение огромный кап, в причудливых формах которого человек, склонный к фантазии, мог найти множество неожиданных скульптурных композиций. Этот кап стоял возле крыльца, его приволокли невесть откуда на тракторе, и Василий Дмитриевич очень гордился своим сокровищем.

Поэт мечтал творить чудо из дерева, он грезил сказкой и с убеждением фанатика верил, что ему удастся создать ее.

Для обработки капа нужен был инструмент. Как-то Василий Дмитриевич проговорился об этом, посетовав, что в магазинах ничего подходящего он найти не мог.

Среди кемеровских художников у меня было несколько знакомых резчиков по дереву. Один из них, Петр Лунев, пообещал мне помочь в этом деле. Слово свое Лунев сдержал: недели через две он принес мне целую охапку резцов и стамесок самой различной конфигурации. Сделаны они были несколько грубовато, не по-фабричному. Но, когда я привез инструмент Василию Дмитриевичу, он ему искренне обрадовался. На мои слова, касающиеся эстетики отделки инструмента, поэт, побаюкав в руках каждый резец и стамеску, возразил мне:

— Главное не в этом. Видно, что все сработано знающим толк человеком. Инструмент сделан по руке.

В тот раз я рассказал Василию Дмитриевичу, что среди кемеровских художников-профессионалов есть настоящий мастер резьбы по дереву — Борис Павлович Заложных. И что важно: его любимый рабочий материал — кап. Его ковчиги, брадины, вазы, ларцы и даже целые сервизы из капа побывали на многих выставках страны и за рубежом.

Поэт взял с меня слово познакомиться его с За-  
ложных.

Бориса Павловича я предупредил об этом. Тот охотно согласился принять поэта у себя в мастерской, поделиться секретами своей редкой профессии.

В это же лето, уезжая из Кузбасса, Василий Дмитриевич повидался со старым мастером. Сожалею, что я не присутствовал при этой встрече. В мастерской художника поэт побывал вместе с Ларисой Федоровной и моей женой Тamarой Ивановной. После жена рассказывала: «Он радовался подобно ребенку, который попал в сказку, на Бориса Павловича смотрел чуть ли не влюбленными глазами...»

И еще о рыбалке. В каждый мой приезд в Марьевку да и при встречах с поэтом в Кемерове у нас обязательно заходила речь об общем нашем увлечении. С присущей для каждого рыбака страстью к перехлесту я рассказывал Василию Дмитриевичу рыбацкие байки, не жалея красок, расписывал мои таежные путешествия с друзьями, увлекательную охоту на хариуса и тайменя на горных речках, говорил о редких уловах, которые нет-нет да и выпадают на долю одержимого рыбака. Федоров с некоторой недоверчивостью слушал мои рассказы, но иногда я читал в его глазах откровенную зависть. Порой мои рассказы счастливо подкреплялись поданными к столу жирными тушками малосолевого хариуса или широкими ломтями тайменя, ало лоснящимися на большой посудине. Поэт деликатно пробовал тайменя и хариуса, хвалил рыбку.

У меня была давняя тайная мысль сманить Василия Дмитриевича в родную моему сердцу Горную Шорию, потешить его настоящей рыбалкой. И это мне однажды удалось. Правда, сделал я это не без помощи моего верного товарища по таежным походам Николая Ивановича Соболева,

старожила Горной Шории, отличного рыбака и опытного таежника, биолога по образованию.

Я привез Соболева в Марьевку, познакомил с поэтом, который встретил меня уже привычным шутивым возгласом:

— Лара! Твоя жертва приехала. Бери, терзай его своими стихами!

С Ларисой Федоровной мы были действительно по-хорошему дружны. Отношения наши были как-то по-домашнему просты и естественны. Она часто читала мне свои новые стихи, в Марьевке ей почти всегда хорошо писалось. Расспрашивала меня о наших общих друзьях, узнавала последние новости. Василий Дмитриевич в такие минуты смотрел на нас со снисходительным юморком, почти не вмешиваясь в наши разговоры.

И в этот раз мы разговорились с Ларисой, и я с опозданием вспомнил о Николае Ивановиче: человек он на Назаркиной горе новый, как они там с поэтом.

Когда я вышел из дома, поэт и мой товарищ сидели на крыльце и были так увлечены беседой, что не обратили на меня никакого внимания. Василий Дмитриевич обычно не так просто сходил с незнакомыми людьми. А тут все было иначе. С Николаем Ивановичем они подружились сразу, у них нашлось много общих тем для разговора. Особенно много и интересно говорили они тогда об экологических проблемах Сибири. И как-то само собой в этот мой приезд решил вопрос о нашей поездке с поэтом в Горную Шорию. Лариса сначала воспротивилась этому решению, опасаясь за здоровье мужа. А Василию Дмитриевичу это добавило веры в необходимость такой поездки...

В путешествие по Горной Шории поехали мы вчетвером: Василий с Ларисой и я со своей женой.

В Таштаголе, можно сказать, у самого входа в дикий таежный мир, к нам присоединились экипированные по всем рыбацким правилам Николай Иванович и мой давнишний друг-художник Иван

Данилович Лячин, мой постоянный спутник в таежных походах.

Маршрут на этот раз мы выбрали редкий и многообещающий: решили залететь на вертолете в верховья реки Малый Абакан, в самую что ни на есть глухомань. Никто из нас, кроме Николая Ивановича, раньше там не бывал. А, по его словам, места там были удивительные, рыбалка отменная.

Вертолет был обещан к вечеру следующего дня. Чтобы скоротать время, мы уехали в Кабырзу, в дом рыбака, решено было там и заночевать.

Дом рыбака стоит в живописнейшем месте, на слиянии двух горных рек — Мрассу и Пызаса. Небольшая возвышенность поднимает его над широким водоразделом, открывая взгляду неповторимый по красоте простор, увенчанный по горизонту многоцветием горных цепей.

Выйдя на просторную веранду, поэт воскликнул:

— Удивительные места! Буду хлопотать о здешней прописке!

После долгого вечернего разговора с местными старожилками Василий Дмитриевич засомневался в нашем немного рискованном предприятии:

— Зачем мне какой-то Абакан, да еще Малый. Оставляйте меня с женщинами здесь. Я буду им ловить рыбу, а они — варить уху. Мне тут нравится...

Женщины его бурно поддержали.

На следующий день мы улетели на Малый Абакан втроем. На прощание поэт сказал нам: «Буду ждать вашего возвращения». И не удержался от шутки: «Посмотрим, кто больше наловит».

Наш воздушный десант и впрямь оказался делом рискованным. Забросили нас на Абакан при хорошей погоде. Но вскоре тяжелые тучи закрыли перевал, отрезав нам обратный путь. Вертолет смог пробиться к нам только через полторы недели. А запас провизии у нас был рассчитан дней

на пять, не больше. Пришлось всерьез поголодать. Несколько дней жили на голой рыбной диете, думая при этом о Василии Дмитриевиче: хорошо, что не полетел с нами.

А рыбалка была отменной, такой, о которой годами мечтается любому истинному рыбаку...

Василий Дмитриевич и наши милые женщины, конечно, не дождались нас. Поэт через два-три дня заскучал среди горношорских красот, его неудержимо потянуло в родную Марьевку, на Назаркину гору, и он уехал туда при полной поддержке наших женщин.

Мои последние встречи с Василием Дмитриевичем запечатлелись в памяти до полной отчетливости, и мне нет надобности прибегать к записным книжкам и другим свидетельствам. И все-таки в одном случае я воспользуюсь документом. Летом 1980 года вместе с группой радиожурналистов мы побывали в Яйском районе — делали репортаж с уборочной. На обратном пути завернули в Марьевку — повидаться с поэтом. Думали заехать на полчаса, а вышло иначе, пробыли мы в гостях у Федоровых почти три часа. Василий Дмитриевич подробно расспрашивал о том, как идет уборка хлебов в районе, какие виды на урожай. И тут кому-то из журналистов пришла идея записать мой разговор с поэтом на пленку. Интервью на Назаркиной горе!

То ли у хозяина дома было в эти минуты отличное настроение, то ли на него подействовали наши разговоры о хороших делах на уборке, как бы то ни было — он охотно согласился на это интервью. Привожу его с документальной точностью.

В о п р о с: — Василий Дмитриевич, вы раньше не так часто бывали в Марьевке. А сейчас, несмотря на большую занятость, каждое лето живете здесь.

Ф е д о р о в: — Пожалуй, не совсем точно ска-

зано, что раньше я редко приезжал в Марьевку. Я не бывал здесь, по существу, только в годы войны. Дело в том, что здесь со мной происходит что-то похожее на процесс обновления. В первое время энергия как бы покидает меня. А потом осмотрюсь и вроде начинаю все заново. Тогда весь мир будто исчезает для меня, я забываю столетнюю сутолоку, споры и речи.

И вот когда я здесь «отсижусь», у меня, как у начинающего, появляется жажда работы, жажда творчества. И что важно: здесь, в Марьевке, я как-то яснее ощущаю, вижу то, что я называю для себя государственной клеткой. Село большое, и видится оно мне клеткой социального организма. Подумаешь так и сразу видишь два полюса: эту клетку видишь и большой полюс — государственный. И события, которые происходят в мире, проходят через эту клетку, она их чувствует, отзывается на них.

Все это происходит как бы невидимо, подспудно, это надо уловить, почувствовать, понять. Я убежден, например, что для Марьевки, для ее людей далеко не безразлично такое событие, как встреча главы нашего государства с канцлером Западной Германии. Не безразлично и то, какой у нас в этом году будет урожай. И все это смотрится не только с точки зрения Марьевки, но и с точки зрения государственной. Или, скажем, игра Америки с хлебом: продавать, не продавать. Марьевка, по существу, тоже в какой-то степени решает вопрос нашей государственной независимости. Сейчас, на мой взгляд, вскрывается много социальной новизны в том, что ряд вопросов требует коллективного, общенародного решения. И с точки зрения организации труда, и с точки зрения руководства хозяйством. В Марьевке это очень заметно...

Для того, чтобы глубже, конкретнее увидеть жизнь, я, например, затеваю для себя какое-нибудь маленькое строительство. Начни строить

хотя бы баню, и ты сразу почувствуешь какие-то новые связи с людьми, у тебя возникает необходимость общения с ними по многим, до сих пор вряд ли ведомым тебе каналам. И эта работа, наблюдения за нею наверняка приведут тебя к каким-то новым размышлениям. Затевая очередное строительство, я, к примеру, остро чувствовал озабоченность тем, что в наше время начинают совсем исчезать старые добротные профессии. Допустим, была профессия бондаря. Попробуйте найти теперь в Марьевке человека, который может сладить для хозяйства крепкую надежную бочку березовой клепки. Не найдете. Хорошего столяра-краснодеревщика — тоже. Даже конопатчика не найдете. А плотника? Сейчас везде бетон, цемент. Опалубку сделал, залил, снял — и все искусство. Вот и приходится вздыхать о старых мастерах.

У меня есть стихотворение о русских плотниках. В нем я говорю о том, что от тех профессий остались только фамилии: «Нет вас, русские бондари, звонкие бондари. Только Бондарев есть».

В о п р о с: — Василий Дмитриевич, я знаю, что вы прошли через немалые трудности в начале своего творческого пути. Вы нелегко входили в литературу, вам потребовалось много сил, много мужества для того, чтобы выстоять на творческих перепутьях. Откуда нашли вы эти силы, что помогло вам в эти годы?

Ф е д о р о в: — Видимо, то, что я не смотрел на творчество, как на личное дело. Я не стремился непременно печатать все, не стремился стать известным. Процесс творчества был для меня неизбежным. Печатали бы или нет меня, я все равно бы писал.

А трудности были оттого, что каждое новое поколение, с одной стороны, воспринимает традиции, а с другой — улавливает какие-то новые тенденции. Не всегда эти тенденции понимает время. Вот сейчас, мне кажется, молодые поэты очень похожи друг на друга. Потому что они



слишком много знают. Они знают, какие стихи напечатают, с какими не станут торопиться. И они стараются подогнать свой оригинальный, неповторимый материал под принятые мерки, сделать его общедоступным, похожим на другой, в надежде, что такие стихи легче пойдут в печать. Часто так и бывает. Но если у поэта свой голос, то к нему сначала присматриваются. Наверное, поэтому и мои стихи, которые долго не печатались, стали публиковать, говорить о них. Я никогда не писал с оглядкой на редакции. Писал лишь о том, что меня волновало.

В о п р о с: — Вы прожили большую творческую жизнь, многое сделали, многое видели. Ваш взгляд на сегодняшний день и состояние нашей поэзии?

Ф е д о р о в: — Вопрос сложный. У нас в стране поэтов — только членов Союза писателей — около трех тысяч. Так вот, мне кажется, что эта массовость немножечко принижает качество. В таком густом потоке стихов, имен порою трудно разобраться. И все-таки (если судить по молодой поэзии) мне иногда кажется, что стихи многих молодых поэтов смахивают на нашу «массовую» архитектуру. Как говорится, коробочек понастроили, и жить в них можно, и водопровод есть, и прочие удобства, а все-таки не до конца весело. Многим молодым поэтам иногда не хватает терпения на большую работу. А ведь оригинальное здание не возникает просто так, его не построишь с налету, бригадным способом. Тут нужна огромная работа, годы и годы. И лишь настоящим поэтам хватает терпения и мужества замыслить какие-то очень необходимые для времени стихи, поэму.

Совсем недавно умер оригинальнейший, самобытный советский поэт Леонид Мартынов. Он неповторим, он не похож ни на кого. А вспомним таких выдающихся мастеров, как Александр Твардовский, Михаил Исаковский. За последние годы

ушло из жизни много больших, незаменимых поэтов.

Вопрос: — И последний вопрос, Василий Дмитриевич. Вы закончили большую работу над «Женитьбой Дон-Жуана», а теперь какие новые замыслы тревожат вас?

Федоров: — Я не очень люблю рассказывать о них. Это, мне кажется, создает определенные помехи в дальнейшей работе. Но я скажу о тех замыслах, рассказ о которых не выведет меня из строя. Я напечатал в прошлом году в журнале «Москва» новеллы «Сны поэта». Сейчас написаны новые, и, видимо, они будут собираться в книгу прозаическую. Говоря о молодой поэзии, я упустил вот что: многие молодые слабо работают над формой стиха. Мы мало и не всегда умело пользуемся даже теми формами, которые открыты давно, формами классическими. Я опубликовал свои «Терцины» в «Новом мире», в «Современнике». Так, очевидно, будет складываться какой-то цикл, главы какой-то крупной вещи. Может быть, это будет своеобразная поэтическая сюита.

И еще. Работаю над новой книгой стихов. Их пока не печатаю, так как взял себе за правило публиковать стихи из будущей книги только тогда, когда их наберется достаточно для выбора.

Когда мы закончили наш непродолжительный разговор с Василием Федоровым, уже густел вечер. Шептала свои неторопливые древние песни речка Яя. Тихо шумели деревья. Живая душа природы слушала и создавала поэзию.

Печальный июль 1982 года. Больше двух недель я пропадал на речках Горной Шории. Думал, вернусь в Кемерово и обязательно съезжу в Марьевку. Вернулся домой и чуть ли не на пороге встретило ошарашивающее известие: Василий Дмитриевич тяжело болен, лежит в областной больнице после сложной операции. Жена немного

успокоила: «Операция прошла, кажется, успешно. А привезли его из Яи в тяжелейшем состоянии и сразу — на операционный стол».

На следующий день пошел в больницу. Сказали, что родных и друзей к нему пускают.

Длинным и мрачноватым коридором сестричка провела меня в палату. Василий Дмитриевич лежал на кровати лицом к дверям. Лицо его было бледным и, как мне показалось, немножечко растерянным. Я поздоровался, присел на стул. Поэт как-то виновато улыбнулся, сказал полушутливо:

— Понимаешь, и болезнь-то меня редкая настигла. Говорят, только в каких-то японских медицинских справочниках описана... Гордиться можно...

Он очень тосковал в одиночестве больничной палаты. От этой тоски не спасали его ни телевизор, ни даже книги. Он рвался на волю, в свою Марьевку, на Назаркину гору:

— Там я быстро пойду на поправку. Таблетками меня не вылечить.

И еще его расстраивало: через несколько месяцев его снова ждал операционный стол, операция проводилась в два этапа.

В больнице он пролежал недолго. Наверно, врачи пошли ему на уступки. Остаток лета Федоровы провели в Марьевке. Здоровье Василия Дмитриевича заметно подправилось, и он стал настаивать на ускорении второго этапа операции. Опытный хирург профессор Шраер, который оперировал его, поначалу сопротивлялся. Но и профессор не устоял перед настойчивыми просьбами своего столь непривычного для него больного. Василия Дмитриевича стали готовить к новой операции.

Все шло вроде бы хорошо, но случилось непредвиденное — инфаркт.

Тяжелый год выпал на долю поэта. Но он мужественно перенес все испытания болезнями и, что достойно удивления, находил в себе силы для

работы над стихами. А может, стихи, жажда творчества укрепляли его дух, поднимали душевные силы?

Встав на ноги после инфаркта, Василий Дмитриевич около месяца укреплял здоровье в профилактории «Сосновый бор», расположенном неподалеку от Кемерово. Я дважды навещался к нему туда и был, возможно, первым слушателем многих его стихов, написанных в дни болезни. Потом часть из них появилась на страницах «Нового мира», «Нашего современника», в других периодических изданиях. Что характерно, в этих стихах нет ни грана нытья, каких-то жалоб на болезни, хотя в некоторых стихах он и касался почти впрямую своего тогдашнего состояния. Но такие стихи у него были всегда окрашены мягкой федоровской иронией, в них проглядывала порой и горькая усмешка знающего и ценящего жизнь человека, мудрого и сдержанного.

Наступили предзимние холода, почему-то подзадержалась из Москвы посылка с теплой одеждой, мы решили помочь Ларисе Федоровне как-то «утеплить» поэта. Повезло — удалось купить хорошую дубленку, только опасались, что будет она ему не по росту. Василий Дмитриевич сначала очень критически отнесся к покупке, даже не хотел ее примерять. Но дубленка оказалась «шитой на него». Поэт выглядел в ней молодежово и, можно сказать, элегантно. Он неумело попробовал скрыть, что обновка ему понравилась. И как-то неловко отшутился: «Вот и я за модой погнался...»

Вторая операция прошла тоже удачно. Но, вероятно, физические силы этого крепкого, не очень-то верящего в болезни человека, были заметно подорваны. Уехал он в Москву уже в декабре.

Весной следующего года у меня выпала дорога в Москву. Началась она как-то сразу для меня неудачно. Рейс самолета долго откладывали. Прилетел в столицу с опозданием больше чем на

сутки, почти в полночь. К тому же вышла неувязка с гостиницей. Секретарша нашего писательского Союза, видно, по рассеянности забыла послать телеграмму в российский Союз, и мне не забронировали в гостинице место. Признаться, я немного растерялся. В Москве у меня не было настолько близких знакомых, чтобы я решился потревожить их в столь поздний час. Думаю, куда ни шло, переночую по-студенчески в аэропорту, а завтра — видно будет. И вдруг вспомнил: ведь завтра воскресенье. А что если позвонить Федоровым? Вдруг дома? Они всегда мне говорили: будешь в Москве — не смей обходить наш дом. После некоторых колебаний позвонил. Трубку взял Василий Дмитриевич. Взял сразу, будто ждал звонка. Разговор был короткий.

— Ты откуда? — спросил он меня.

— Из аэропорта.

— Приезжай к нам немедленно. Мы тебя ждем.

Взял такси. Через полчаса был на Кутузовском. Взглянул на часы — второй час ночи. Но меня ждали. На столе был собран ужин. Проговорили до трех часов.

Наутро я было снова стал хлопотать о гостинице. Федоровы пресекали все мои попытки уйти от них. А Василий Дмитриевич сказал резко: «Уйдешь — обижусь по-настоящему». Не отпустили меня они и в понедельник. Все семь дней командировки я прожил у них. Все это время я потихоньку наблюдал за «московским» Василием Дмитриевичем в его домашней обстановке. Поэт был прост и радушен ко мне, пожалуй, как никогда. Лариса пожаловалась мне, что он почти не выходит из дома, лежит в прокуренной комнате, читает, что-то пишет. «А ведь ему нужен сейчас больше всего свежий воздух», — со вздохом сказала она.

— Уеду в Марьевку — отдышусь, — отшучивался он.

В эти дни он много говорил о Марьевке. Рас-

страивался, что не попал туда «на колбú». «К грибам — тоже опаздываю. Врачи держат». Он давно вынашивал план перестройки террасы в доме на Назаркиной горе. И стройматериалы уже туда завез. Я пообещал помочь ему в черновой работе, чистовую доводку террасы поэт хотел во что бы то ни стало сделать сам: «Сделаю — дом будет светлее. Можно будет на террасе принимать гостей!»

По вечерам Лариса, беспокойная душа, старалась облегчить мне «культурную программу» — раза два мы ходили с ней в Центральный дом литераторов на вечера и концерты. Смотрели и слушали новые программы Аркадия Райкина, Татьяны Дорониной. Пробовали мы втянуть в это дело и Василия Дмитриевича. Он активно сопротивлялся: «Вы идите, выставляйтесь на люди, а я почитаю Дрюона. Любопытный писатель».

Как-то поздно вечером, возвратившись с концерта, я зашел в комнату Василия Дмитриевича поделиться с ним впечатлениями. Там было накурено — не продохнешь. Я стал открывать форточки. Поэт недовольно заворчал, потом смирился: мол, действительно, душновато...

В обыденной домашней жизни, в отношениях с Ларисой Федоровной поэт был в чем-то похож на большого ребенка, иногда чуточку капризного, иногда искренне растерянного, не знающего, как ему поступить, рассеянного, а порой с трудом управляемого. К Ларисе он относился, по-моему, трогательно, порой маскируя это чувство под напускной ворчливостью и раздражительностью. А она к нему относилась буквально по-матерински. Помню, например, как Лариса около часа собирала его в больницу, искала куда-то запропавшие запонки, подбирала ему рубашку, галстук. А он удовлетворенно и потихоньку ворчал на нее...

Весной 1984 года Василий Дмитриевич снова засобирался в свою Марьевку. Врачи настояли на Эссендуках. Внушало опасения здоровье поэта.

«Меня вылечит только Марьевка», — упорствовал он. Но в конце концов сдался...

19 апреля его не стало. Ночной звонок Ларисы Федоровны. Страшная весть. Мой вылет в Москву. Наполненный непоправимым горем вечер на Кутузовском среди родственников и близких поэта накануне похорон. Боткинская больница. Катафалк. Дом литераторов в траурном убранстве. Гроб на возвышении, обтянутом крепом. Огромная масса народа, пришедшего проститься с любимым поэтом. Общее горевание. Все это слилось в одно большое горе, горе на долгие годы, на всю жизнь.

Столетняя тропка круто падает по склону горы к озеру-старице. Идти по ней трудно. В полдень прошел короткий густой дождь. Тропка еще не подсохла как следует, ноги то и дело скользят по суглинку. Василий Дмитриевич вел меня в тот день к дальнему краю озера, к своему родничку. Я не один раз видел этот родник, пил его студеною сладкую воду. Поэт издавна следил за родником, обиходил его, говорил о нем, как о живом существе. Припоминаю его слова: «Приезжая в Марьевку, всякий раз вспоминаю древнюю Кузьмиху. О ней напоминает мне родник, который по ее примеру я начинаю чистить, укреплять запруды и прилаживать лоток. Когда-то она взяла на себя добровольную обязанность содержать в чистоте и опрятности все родники приозерного берега, нынче в большинстве заболоченные. Меня же хватает только на один родник».

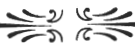
Я стоял тогда с ним у родника, и в душе моей звучали строки поэта о его первой встрече с Музой, здесь, в этих местах, с Музой, которая предсказала деревенскому пареньку нелегкую судьбу поэта:

*Стояла,  
Скорбная такая!..  
Вперед как будто поглядела  
И, на тревоги обрекая,  
Меня заранее жалела.*

Да, Муза не ошиблась в деревенском мальчике. Он оправдал ее предсказания и надежды. Из мальчика вырос прекрасный поэт, прославивший родную землю. Родник его поэзии чист и вечен. Из него будут благодарно пить многие поколения людей, которым дорога родная земля и высокое слово подлинной поэзии.

Май 1985 г.





*Леонид Решетников*  
**СЫН СИБИРСКОЙ СТОРОНЫ**



*На VI съезде писателей СССР. В. Д. Федоров, И. И. Бережной, Л. В. Решетников. Июнь 1976 г.*

В середине марта 1984 года в Москве, в большом зале Центрального дома литераторов, проходил очередной пленум правления Союза писателей СССР. Перед началом заседания я встретился с бывшим новосибирцем Анатолием Степановичем Ивановым. Рассказал ему о наших общих знакомых, живущих в Новосибирске, передал

свои стихи для «Молодой гвардии» и получил в дар от него только что вышедшую книгу повестей и рассказов «Печаль полей». Уже в ходе заседания я оказался рядом с другим земляком, живущим и работающим теперь в Москве, Сергеем Павловичем Зальгиным, и рад был поговорить с ним о жизни и литературе. В частности, о его романе «После бури», первую часть которого только что прочитал. Мне хотелось увидеть еще Василия Федорова, но я мало на это надеялся, так как накануне, во время телефонного разговора с ним узнал, что он идет в этот день к какой-то медицинской знаменитости и едва ли сможет прийти на пленум. Тем большей была моя радость, когда я вдруг увидел его, появившегося незадолго до окончания пленума в двери и прицеливавшегося к месту, где было бы удобно присесть. Я подал ему знак, и он сел недалеко от нас.

Закончив разговор с Зальгиным, я перебрался к Федорову, и мы вскоре вышли из зала.

Первое, что я произнес, было обычное: «Ну, как?», что можно было расценить и как вопрос о состоянии его здоровья, и как вопрос относительно его мнения о последних выступлениях в зале, который мы только что покинули. Он понял это так, как и следовало понять.

— Ты понимаешь,— ответил он, стряхивая пепел с сигареты,— был сейчас у своего бога-профессора... Разрешил жить...

И он полуиронически-полузаговорщицки улыбнулся.

Я знал, что он недавно перенес операцию. И вообще был с его слов более или менее в курсе его дел и не считал возможным вдаваться в дальнейшие подробности относительно его здоровья. Я был рад, что он выглядел бодрым и ироничным.

Начинался обед, и мы прошли в ресторан. После обеда, обменявшись литературными новостями и погоревав по поводу недавно ушедших из жизни наших общих товарищей — поэтов-новосибирцев

Николая Перевалова и Елизаветы Стюарт, мы разошлись. Но прежде мы договорились о том, чтобы повидаться летом на сибирской природе. Я пообещал приехать к нему в начале июня в его родную Марьевку, что в Кузбассе,— на черемшу и прочую «травку», он ко мне — в конце сентября, в Юрт-Акбалык, на севере Новосибирской области,— на рыбалку и «орешки», как ласково зовут у нас кедровые орехи.

С тем и расстались. В конце марта я вылетел в ялтинский Дом творчества, чтобы успеть до лета расквитаться с рабочими долгами, он чуть позднее — в Ессентуки, на воды, которыми решил взбодрить свое, не очень еще окрепшее после операции здоровье.

И вдруг двадцатого апреля жена сообщила мне из Новосибирска, что меня разыскивает «Литературная газета»: в Ессентуках умер Василий Дмитриевич, в связи с чем я должен передать в редакцию несколько слов о нем.

Я тут же кинулся к автомату, чтобы позвонить в Москву на квартиру Василия. К телефону подошла его жена, писательница Лариса Федоровна Федорова. Увы, горькая весть оказалась верной.

Весь этот день прошел для меня как в тумане. Я разыскивал сестру Василия Дмитриевича — Антонину Дмитриевну, постоянно жившую в Ялте и оказавшуюся незадолго до этого в одной из больниц в тяжелом состоянии. По поручению Ларисы Федоровны я должен был сообщить ей о смерти брата. Потом я забрел в городскую библиотеку и полистал «гослитовский» двухтомник поэта. Потом написал пару страниц о нем, которые и передал по телефону в Москву.

И все это время вспоминал о наших встречах с Василием, довольно часто случавшихся на протяжении более чем двадцати лет нашего знакомства, все пытался воскресить в памяти самую первую из них. И никак не мог этого сделать: казалось, что я знал поэта всю жизнь...



*Висилий Федоров и Сергей Орлов в ЦДЛ. 60-е гг.*

Я так и не смог с точностью припомнить, когда же я впервые встретился с ним. Дело в том, что когда в 1956 году я приехал в Новосибирск, Федорова там уже не было: он, окончив Литературный институт, жил и работал в Москве. Однако определенное представление о нем я уже имел. Во-первых, я знал его книги стихов «Лирическая трилогия» и «Лесные родники» и видел журнальные публикации поэм «Марьевская летопись» и «Белая роща». Во-вторых, я был немало наслышан о нем. Сначала — от Саввы Кожевникова, а позднее — от Александра Смердова, Елизаветы Стюарт и других писателей-новосибирцев, которые знали его еще по военным годам, когда он работал на Новосибирском авиационном заводе имени В. Чкалова технологом-мастером, а затем старшим мастером сборки истребителей. Иногда, по вечерам, он заглядывал в комнатку новосибирской писательской организации

Скорей всего, знакомство наше состоялось в 1958 или 1959 году, так как именно около этого времени на моей полке появилась первая из многих подписанных в разное время книг Василия Федорова: сборник стихов «Дикий мед», вышедший в 1958 году.

Хорошее это было время. Мы, люди военного поколения, прошедшие кто через огонь войны, кто через испытания фронтового тыла, миновали уже и полосу послевоенной разрухи, но все еще были достаточно молоды и здоровы и, следовательно, полны планов и надежд. Страна находилась на подъеме. Успешно восстанавливалось хозяйство. На подъеме была и духовная жизнь народа, в частности, литература. Были живы и активно работали многие мастера слова: А. Фадеев и М. Шолохов, К. Федин и К. Паустовский, М. Исаковский и А. Твардовский, С. Маршак и А. Прокофьев, П. Антокольский и М. Светлов, Я. Смеляков и А. Яшин. Набирали силу писатели военного поколения — Ю. Бондарев, Г. Бакланов, М. Алексеев, поэты М. Луконин, С. Наровчатов, С. Орлов, М. Дудин, Д. Ковалев.

Организационно оформлялся Союз писателей самой большой республики — России, в связи с чем заметно оживилась литературная жизнь на местах. Ряд малочисленных писательских организаций укреплялся за счет приема молодых литераторов, в некоторых областях создавались организации заново. В крупных городах России, в том числе в Сибири и Забайкалье, проходили зональные совещания-семинары с участием писателей столицы. На них выезжал весь Оргкомитет, а позднее — секретариат Союза писателей РСФСР во главе с Леонидом Соболевым, которого за его военное звание капитана 1-го ранга в запасе, а главное — за пожизненную верность военно-морской теме, все мы любовно называли «каперангом». На этих совещаниях и, конечно же, не только на них, вдруг вспыхивало и оказывалось

в центре внимания то или иное новое литературное имя. Некоторые из этих молодых, побывав на одном из таких совещаний в роли «учащихся», на следующем уже сами становились «учителями».

В печати все чаще и чаще стали мелькать имена В. Астафьева, С. Залыгина, Е. Носова, А. Иванова, П. Проскурина, Л. Иванова, И. Лаврова, К. Воробьева, В. Сапожникова, В. Потанина. От Смоленска до Иркутска с новой силой зазвучали голоса поэтов — давно известных и совсем молодых. В Смоленске активно работал Н. Рыленков, в Иванове — В. Жуков, в Вологде — С. Викулов и Н. Рубцов, на Урале — Б. Ручьев и Л. Татьяничева, в Новосибирске — К. Лисовский, Н. Перевалов и Е. Стюарт, в Красноярске — И. Рождественский, в Иркутске — И. Луговской и М. Сергеев. В ряде городов возникали новые альманахи. В Москве начал выходить орган Российского Союза писателей — еженедельник «Литература и жизнь», с самого начала охотно предоставлявший свои страницы для произведений и старых мастеров и молодых литераторов, в том числе и проживавших в различных областях и краях Федерации.

Среди этого оживленного многоголосья прозаиков и поэтов голос Василия Федорова звучал уже к тому времени уверенно и сильно. Некоторые стихи и поэмы его были не только на виду у литературной прессы, но и на слуху у широкого читателя. Не только печатно, но и устно широко цитировались строки о том, что «сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг...»

Вот в это-то время я и встретился с ним в Новосибирске. Дело в том, что в те годы у него было еще немало родных в этом городе. Жили его мама, Ульяна Наумовна, старшая его сестра Татьяна Дмитриевна, находившаяся уже на пенсии, и трое братьев, с одним из коих — Иннокентием Дмитриевичем — поэт был особенно близок. К ним-то время от времени и наведывался он. Иногда он



*Василий Дмитриевич с сестрой Антониной и братом Иваном. Марьевка, 1973 г.*

жил здесь, в Новосибирске, сравнительно долго, иногда же — два-три дня, после чего отправлялся дальше, в деревню Марьевку Кемеровской области, где провел детство и где обитали его родственники.

Не помню хода всего нашего разговора во время первой этой встречи. Но отчетливо помню его окончание. После расспросов о столичных новостях и рассказа о новосибирской жизни Савва Кожевников попросил Василия Дмитриевича, или, как он называл его по праву старшинства, Васю, прочитать именно это, упоминавшееся мною стихотворение «Сердца». Может быть, потому, что оно было «в моде», а может, и потому, и даже скорее всего, что пафосом своим оно особенно отвечало взглядам самого Саввы Елизаровича.

Василий глянул в загоревшиеся глаза Саввы и, несколько вбок оттопырив нижнюю губу, еще в детстве помеченную чуть приметным шрамом, глуховатым, но веселым и вместе как бы упрямкающим голосом сказал:

— Что ж, все «Сердца» да «Сердца»... Наши с вами сердца, за которыми охотятся многие... Есть и еще одна задачка: вытравить личного врага из своего собственного сердца... Вытравить из него то, что делает сердце глухим и трусливым... Выдавить рабскую кровь, доставшуюся каждому из нас по наследству...

Глаза Саввы Елизаровича загорелись еще ярче.

— Ну-ка, ну-ка,— поощряюще произнес он, любовно глядя на собеседника.— Давай-ка...

Он ожидал услышать новые стихи. И не ошибся. Федоров кашлянул и без аффектации и нажима на голосовые связки, что тогда начинало входить в моду, особенно у молодых поэтов, завоевывавших эстраду, неспешно начал, держа в одной руке дымящуюся сигарету, другой опершись о колено:

*Вместе с той,  
Что в борьбе проливалась,  
Пробивалась из мрака веков,  
Нам, свободным,  
В наследство досталась  
Заржавелая рабская кровь...*

Не из книг поэта, которые — все, до единой — были впоследствии перечитаны мною, а именно с той поры, с той самой первой встречи с ним, остались в моей не очень-то цепкой памяти эти строки:

*Рос я крелким,  
Под ветром не гнулся,  
Не хмелел от чужого вина,  
Но пришлось — подлецу улыбнулся.  
И почувствовал:  
Это она!  
Кровь раба,  
Презиравшая верность,  
Рядом с той,  
Что горит на бегу,—*



Как предатель,  
Пробравшийся в крепость,  
Открывает ворота врагу...

С особенной силой, хотя и пониженным, но проникновенным голосом прочитал он заключительную строфу:

Но борюсь я.  
Не днями — годами  
Напряженная глится борьба.  
Год за годом,  
Воюя с врагами,  
Я в себе  
Добиваю раба...

— А ведь и это — про сердца, — сказал Савва, лукаво глядя на Василия.

— Про сердца-то про сердца, — ответил тот. — Да только, мне кажется, с другой стороны...

Что верно, то верно. Если стихотворение «Сердца» было своего рода политическим лозунгом, то «Рабская кровь» являлась нравственной исповедью. Если в первом стихотворении поэт решал как бы внешнюю задачу, то здесь речь шла о задаче внутренней, о необходимости нравственного самоочищения и утверждения в себе человеческого начала, без коего, как известно, невозможно никакое продвижение вперед, к достижению тех идеалов, которые всю жизнь провозглашал поэт. Именно эти мысли после решений XXI и XXII партийных съездов особенно ощутимо витали тогда в воздухе. Да, кстати сказать, стоят перед нами в виде конкретных задач и сегодня...

— Я думаю, мы можем наштамповать больше машин и холодильников, чем их штампуют в Америке, — продолжил свою мысль Федоров. — Но явится ли одно это гарантией нашего успешного перехода в новую, высшую стадию развития общества? Едва ли... В коммунизм, не освободив-

шись от старой психологии, со старым сердцем не въедешь и на первой-классной машине...

Ощущение внутренней силы и убежденности, основательности и надежности исходило не только от высокой фигуры поэта, от крупных черт его лица, от широких ладоней с гибкими и тонкими, как у музыканта, пальцами, от неторопливого, но определенного жеста, но и от самого негромкого и глуховатого голоса, а главное, от значительности произносимых им слов.

Именно ощущение убежденности и прочности, которые излучала вся личность Василия Федорова, я и уносил из этой первой встречи с ним.

Ощущение это было, конечно, еще слишком общим и приблизительным. Но, как подтвердило время, оказалось верным и стойким.

С той первой встречи прошло немало лет. И немало других встреч с Василием Дмитриевичем, открывавших для меня все новые и новые стороны личности поэта.

Прошедший трудовую школу крестьянского детства и заводской юности, Федоров всегда тянулся к рабочему люду — и к сельскому жителю и к человеку индустриального, заводского труда. А также к тем, кто пишет о людях труда. Не случайно среди его любимых сотоварищей был один из лучших наших поэтов — Борис Ручьев, лирически воспевавший индустриальную Магнитку. Недаром его симпатией был согрет талант многих более молодых поэтов, пришедших в литературу от производства.

Вот почему, когда было решено провести зональное совещание молодых литераторов Западной Сибири в Кемерове, на него в качестве руководителя, среди некоторых других поэтов, был приглашен и Василий Федоров. Здесь-то и произошла моя вторая встреча с ним.

Примечательно, что и многие другие руково-

дители семинара были поэтами, пришедшими в свое время в литературу из индустрии. Здесь, кроме Василия Федорова, оказались бывший фэзэушник и типографский наборщик Ярослав Смеляков, бывший рабочий ленинградской фабрики «Светлана» Александр Решетов.

И хотя все они не только хорошо знали друг друга, но и были в давней дружбе,— а Смеляков и Решетов и начинали вместе, еще до войны,— здесь, перед лицом молодых, они как бы снова открывали друг друга и свое поколение. Открывали и сами себе — с чувством некоторого удивления и знакомой гордости — и, главное, тем молодым, которые приехали сюда, чтобы услышать их.

Все мы руководили разными семинарами. И поэтому я знаю лишь как проходил семинар, которым руководили мы с Федоровым. Как почти всегда это бывает, состав был пестрым. Но пестрым, главным образом, по уровню литературной подготовки. Что же касается жизненных интересов и привязанностей, и даже некоторого житейского опыта, то у наших «семинаристов» было много общего — почти все они работали на различных предприятиях и в учреждениях и уже имели представление о мозолях на руках и цене хлеба. Но были и такие, что знали жизнь лишь по книгам и кино. И поводы для написания стихов они черпали оттуда же, из литературы и искусства. В чем и расписывались всеми своими стихами. И в этом ничего удивительного не было: авторы их — школьники и студенты — находились в самом начале жизненного пути. Удивили нас скорее те, на кого мы как раз более всего рассчитывали,— люди, что называется, уже понюхавшие жизнь, поработавшие на производстве или отслужившие в армии. Ну, решили мы, уж в их-то стихах, неважно каких — умелых или неумелых,— конечно же заявит о себе если не поэзия труда, то хотя бы сама трудовая жизнь. Увы, ни того,

ни другого не произошло. Они писали о том же, о чем писали их младшие товарищи, еще не прикоснувшиеся к трудовой жизни: о вселенной, о смысле всечеловеческого бытия, в лучшем случае — о любви, но любви какой-то книжной, пересказанной с чужих слов. Были прочитаны почему-то стихи на темы античной мифологии — о Минерве и Горгонах, в частности. Еще несколько стихотворений было о смерти, но смерти тоже какой-то умозрительной, отвлеченной от конкретной земной обстановки. А одна девица довольно крупного сложения и с румянцем во всю щеку, прочитала стихи о загробной жизни. И все это с немалой долей жеманства и одновременно с претензией на современное «поэтическое» оперение...

— Вот что, дорогие мои,— сказал Василий Федоров, подводя итоги первого нашего знакомства с молодыми.— Произошла, видимо, какая-то печальная ошибка. В нашем списке значатся молодые, стремящиеся не только к овладению словом, но уже владеющие важными жизненными профессиями — забойщика, кузнеца, вальщика. А, судя по стихам, перед нами — сплошь люди не от мира сего. У вас есть своя трудовая биография, или хотя бы начало ее. Почему же вы не пускаете ее в свои стихи? Поэзия — это не красиво сплетенная вязь из слов, но выражение поэтом его собственного отношения к повседневной конкретной жизни, которой живет не только поэт, но и его народ. Народ же неотделим от труда — крестьянского ли, рабочего ли. А вы стесняетесь говорить в стихах о том, что составляет и жизнь народа, и предмет ваших собственных трудовых обязанностей на земле...

И он стал называть поэтов, которых поэтами сделал их рабочий или крестьянский труд и которые, в свою очередь, восславили этот труд. И стал читать стихи. Это были не только знаменитые строки Александра Твардовского — «Коси, коса, пока роса, роса долой и мы домой» или Ва-

силія Казина — «Стучу, стучу я молотком, верчу, верчу трубу на ломе,— и отговаривается гром и в воздухе, и в каждом доме...», но и стихи их старших, но менее именитых собратьев: Никифора Тихомирова и Александра Благова, Михаила Герасимова и Павла Беспощадного. Или современных Казина и Твардовского — поэтов Николая Ушакова и Николая Дементьева, Вадима Стрельченко и Бориса Ручьева. И более молодых — Сергея Викулова и Николая Анциферова или совсем недавно вошедших в литературу — уральца Валентина Сорокина и смолянина Владимира Фирсова.

Из списка прочитанных им в тот день стихов так называемых «крестьянских» и «рабочих» поэтов можно было бы составить целую антологию поэтов труда. И вот что интересно — на второй день те же молодые люди читали совсем другие стихи: о их родной земле и доме, о их труде, о товарищах по работе, знакомых и родных людях.

— В чем же дело? — удивленно и вместе обрадованно спросил Федоров, обращаясь к аудитории. — Что же вы нам читали вчера?.. И откуда у вас сегодняшние стихи? Не написали же вы их за ночь?..

Ларчик открывается просто: чуть не у каждого из «семинаристов» оказался свой «учитель», который считал, что повседневная человеческая жизнь — это не для поэзии, потому именно, что она — повседневна... Исходя из этой ложной посылки, молодые и не показывали стихи о живой жизни, считая их «малоинтересными».

Мы нашли несколько одаренных молодых людей, и среди них — челябинца Вячеслава Богданова и барнаульца Николая Черкасова, сборники которых, находившиеся на рассмотрении в местных издательствах, решительно поддержали.

А спустя год или полтора после этого, когда у молодого алтайского поэта вышел и второй сборник, я получил от Федорова письмо. «Пора Ни-

колаю Черкасову оформляться в Союз,— писал Василий Федоров.— Но ему нужна еще одна или две рекомендации. К сожалению, я как секретарь Союза лишен права рекомендовать кого бы то ни было официально. Поэтому обращаюсь к тебе: не можешь ли это сделать ты, если, конечно, твое отношение к молодому поэту не изменилось за это время?..»

Мое отношение к тому, что я говорил о молодом поэте на семинаре, естественно, не изменилось. Но первым вспомнил о нем, хотя, может быть, и не без напоминания этого молодого, все же Василий Федоров.

Припоминается еще одно наше совместное с ним участие в работе молодежного поэтического семинара. Было это на V Всесоюзном совещании молодых, проходившем в Москве.

Начинающий поэт читал стихи о деревне. Стихи с технической стороны были неплохо сбиты, но такие они были заунывные, с такой тоскливой оглядкой на деревенскую старину, которой в жизни сейчас уже и в помине-то нет, что приходилось диву даваться: откуда это у молодого современного парня. Еще больше удивились мы, когда узнали, что молодой поэт и живет-то с ранних лет в городе, хотя и родился в деревне, в одной из центральных наших областей.

— Когда вы были в последний раз в своей деревне? — спросил Федоров.

— Да еще мальчишкой, — смущенно ответил тот.

— А теперь, если позволите, я отвечу за вас на свой следующий вопрос, — сказал Федоров.— Я хотел спросить вас, кто из современных поэтов вам более всего по душе и кому вы хотели бы следовать. Но решил, что я и сам, видимо, смогу ответить на этот вопрос. Если вы не возражаете.

— Да, пожалуйста, — согласился тот.

— Поэт этот — вот кто...

И Василий Дмитриевич назвал имя поэта, пи-

шущего преимущественно о северной деревне и захлеб расхваливаемого частью нашей литературной критики, стремящейся противопоставить его так называемую «тихую поэзию» стихам поэтов «урбанистического» склада, шумно подвизавшихся не только в печати, но и особенно на литературной эстраде...

— Я не ошибся? — спросил Федоров.

— Нет, — ответил молодой поэт.

— Так я это и понял, — заметил Василий Дмитриевич. — Пример, в общем, неплохой. Н. Н. — поэт искренний и истинный. Лучшие его стихи обладают большой силой лиризма. И в этом его достоинство. Но современную деревню, ее трудности и проблемы, процессы, происходящие в ней, он, по-моему, видит несколько односторонне. Русская деревня в нашем столетии, только после революции, претерпела не одно потрясение — социальное, экономическое, психологическое. Пройдя через все эти потрясения, она раз и навсегда избрала свой путь и не собирается сворачивать с него. Н. Н. же этого пути как бы не видит. Он видит как образец лишь деревню старую, уходящую и являющуюся — в его представлении — единственной нашей нравственной опорой. Жизнь деревни активно опровергает такую точку зрения на нее. Современный сельский житель устремлен к новому и в его труде, и в быту, и в культуре. К условиям, которые соответствовали бы уровню городской жизни. И вовсе не о том его дума, чтобы подольше удержать на земле старую деревню с ее посиделками и хороводами, самопрялками и иконами. Не розвальни на сельском проселке, а современный автобус на современной дороге; не букетик целебных травок, хотя среди них есть и весьма целительные, а больница; не начальная, а средняя школа; не сельский клуб, а Дом культуры — вот о чем мечтает современный колхозник. Все это не трудно увидеть, если смотреть на деревню не предвзятым глазом. Если захотеть

разобраться в глубинных процессах, происходящих в деревне, в экономике и психологии крестьянина, как это умели делать на заре советской власти Михаил Исаковский, а позднее, в период коллективизации,— Александр Твардовский...

— Хотя, конечно,— добавил он после некоторого раздумья,— в этом трудном продвижении деревни вперед есть и потери. Есть. Бывает, что и не на тот поворот занесет. Но выход из этих боковых, ошибочных поворотов искать надо все же совсем не там, где ищут его иные из нас. Не в старой деревне. Ибо возврата к ней нет...

Вспоминаю встречу Василия Федорова с учеными Новосибирского академгородка. У него тогда вышли поэмы «Бетховен» и «Аввакум», начали появляться в журналах главы «Седьмого неба». Эти публикации, насколько мне известно, и толкнули ученых-сибиряков на мысль пригласить к себе поэта, чье творчество их давно интересовало. Федоров же согласился приехать в Академгородок в первую очередь потому, что надеялся в ходе встречи из первых уст услышать отношение ученого мира к проблемам взаимоотношения НТР и человека.

Это было время нового триумфального взлета нашей науки и техники «на земле, в небесах и на море». В космосе же — в особенности. Стали появляться различные счетно-вычислительные и другие «умные машины», решавшие шахматные задачи и даже пишущие стихи и музыку по заданию. Были написаны такие машинные «стихи» и в счетно-вычислительном центре Новосибирского академгородка. Другое дело, какого уровня были эти стихи, но они были. Словом, наука и техника находились на подъеме, что нашло отражение и в поэзии, были в ходу широко цитировавшиеся стихи Б. Слуцкого «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...»

Вот в этих довольно непростых и нелегких для представителя одного из древнейших «ремесел»,



каким издревле считается поэзия, обстоятельствах и встретился Василий Федоров с ареопагом представителей науки.

Разговор, как и предполагалось, проходил, особенно вначале, несколько нервно. Он начался с претензий к современной советской поэзии. Тон этот задал один из оппонентов поэта, известный математик А. А., считавший себя, как это вскоре выяснилось, и, возможно, не без оснований, знатоком не только математики, но и современной поэзии, особенно западной. Человек он был, как говорят, взрывной, «моторный». И беседу начал без каких-либо «дипломатических» расшаркиваний и охорашиваний.

— Не считаете ли вы,— обратился он к Федорову,— что современная поэзия отстает от времени?

Федоров, что называется, принял вызов и ответил решительно, хотя и довольно спокойно:

— Я не склонен ставить поэзию ни перед временем, ни за ним, ни вообще отдельно от него. Поэзия сама — часть времени и одно из его наиболее характерных выражений. Поэтому скажем так: каков век — такова и поэзия. Как век не есть нечто однородное и поступательно развивающееся, так и море поэзии слагается из многих приливов и отливов, подъемов и падений уровня. Как девятнадцатый век состоял не из одних Пушкиных и Лермонтовых, так и наш не выдавал и не мог выдавать каждое десятилетие очередного гения. Был Блок, был Маяковский. За ними пришел Твардовский. Я уверен, что будут и другие. Наберемся терпения, ибо никакие понукания еще не помогли появиться на свет не только поэту, но и обычному новорожденному...

После этого беседа сразу вошла в спокойное русло. И вопросы к поэту носили более спокойный, а главное, конкретный характер, на которые и ответить можно было более конкретно.

Я запомнил, хотя, к сожалению, и не записал

его ответ на реплику о том, что все же наука, в отличие от поэзии, и в наш век особенно, чуть ли не каждый год дарит миру новые открытия и идеи.

— Видимо, сама природа науки и природа поэзии, — сказал Федоров, — содержит в себе нечто такое, что не только роднит их, но и различает. Наука и поэзия — это начало аналитическое и начало синтетическое. Одно обращено более к разуму, другое к душе. Расщепив материю на молекулы, наука принимается за расщепление молекулы на атомы. Затем наступает очередь для расщепления и самого атома. И все это каждый раз выглядит как научная революция. Поэзия же каждый раз делает одну и ту же работу, уже проделанную в свое время ее предшественницей, — создает душу каждого нового поколения, начиная вновь и вновь с азов. Но зато ее законы и открытия более жизнестойки, они менее подвержены воздействию старения. Ее формы долго остаются наполненными жизненной силой. Античная литература сопровождает нас до сих пор как современница нашей души. Языку и ритмам поэзии Пушкина был в полной мере подвластен Маяковский, ибо его ритмы, при всей их новизне, в конечном счете — производные от того, что было уже заложено в открытии гениального предшественника. Поэзия Есенина, долго и упорно прищипливаемая нашей критикой к старой деревне, уходящей корнями в прошлое, оказалась необходимой сегодняшним разведчикам космоса. Поэтому не будем всерьез говорить о соревновании физиков и лириков.

Против этого, кажется, никто не возражал. Хотя и аплодисментов не было. Зато с полным пониманием были встречены стихи и отрывки из поэм, которые Федоров прочитал вслед за этим. А прочитал он снова «Сердца», как бы в пику тем высказываниям, которые как раз в это время слишком уж упирали на необходимость всемерного и

возможно широкого наведения мостов, в том числе и культурных, между Востоком и Западом.

Как бы объясняя, почему он прочитал именно это стихотворение, Федоров сказал, между прочим:

— Я тоже за мосты. Но надо смотреть, что идет к нам по этим мостам. Иногда мне кажется, что я слышу, как по настилу этих мостов стучат копыта троянского коня...

Потом он прочитал «Бетховена» и главу о полете на Вегу из поэмы «Седьмое небо».

Интересной была вторая часть разговора — о проекте поворота сибирских рек в Среднюю Азию, который тогда только начал вынашиваться в определенных хозяйственных и ученых кругах. Тема эта была небезразлична Федорову, крестьянскому сыну, близко к сердцу принимавшему все, относящееся к землепользованию, а к происходившему на сибирской земле — тем более. Ученые рассказали о своих взглядах на этот проект. Рассказ их был тем более интересен, что кое-кто из них входил в специально созданную комплексную комиссию по изучению путей осуществления этого проекта и возможных последствий. Выводы комиссии сводились к тому, что идея эта при теперешних возможностях переброски воды на такие огромные расстояния, пока едва ли себя оправдывает: слишком велик был расчетный процент потерь влаги, которая, не доходя до места назначения, неминуемо должна была уйти в песок и в воздух.

Вместе с тем катастрофическим мог стать урон, который неминуемо должны были понести реки Сибири. Да и не только реки, но и окружающий их растительный мир, сам климат. Дыхание Арктики, лишенной тепла рек, впадающих в нее, неизбежно приблизилось бы к зоне сельского хозяйства Сибири. Все эти выводы были против проекта. Убежденные их аргументацией и решимостью и уверовавшие в возможность разумного под-

хода к этому ответственному делу, и расстались мы с новосибирскими учеными.

— Вот чего я боюсь,— сказал Василий Дмитриевич, когда мы вышли из Дома ученых.— Средней Азии, ее хлопку действительно нужна вода. Но вода, а не те крохи, которые судит отвергаемый сейчас учеными проект. Но ведь, знаешь, как у нас иногда бывает: доводы науки — одно, а хозяйственные решения — другое. И эти решения, диктуемые задачей лишь сегодняшнего дня, нередко берут верх. Пример тому — Байкал, который наука не смогла оградить от вторжения хозяйственников. А результат, как говорят, налицо: уникальный водоем — под угрозой. Построили целлюлозный комбинат, и в водах озера навсегда исчезли многие уникальные виды животного и растительного мира... Как бы подобное не повторилось и здесь...

Время показало, что опасения его не были беспочвенными. Кое-кто из тех ученых, что тогда были против поворота рек Сибири, сейчас, став хозяйственниками, начинают доказывать правомерность этого проекта...

Одним из следствий этой встречи Василия Федорова с новосибирскими учеными можно, видимо, считать его стихи «Держайте!» — нам, поэтам, говорят...» и «Да Винчи говорил...»

*Держайте! —  
Нам, поэтам, говорят,—  
Как спутники,  
Кружитесь по орбите.  
Мир познавая,  
Физики дробят  
Природу косную...  
И вы дробите!  
Я признаю  
С учеными родство,  
Но признаю  
И разницу от века:*

Ученый  
Расчленяет' естество,  
Поэты  
Собирают человека!

Второе стихотворение — «Да Винчи говорил...» — несомненно шире того повода, которым, возможно, явился для поэта разговор в Доме ученых Новосибирского академгородка о переброске рек, но что разговор этот мог быть отправным толчком для написания стихотворения, сомневаться, видимо, не приходится. Вот это, состоящее из двух строф стихотворение:

Да Винчи говорил:  
Когда вы захотите  
Какой-нибудь реке  
Дать новый,  
Лучший путь,  
Вы как бы  
У самой реки спросите,  
Куда б она сама  
Хотела повернуть.  
Мысль Леонардо!  
Обновись, и шествуй,  
И вечно торжествуй  
На родине моей.  
Природа и сама  
Стремится  
К совершенству.  
Не мучайте ее,  
А помогайте ей!

За более чем двадцатилетний срок дружбы с Василием Федоровым я не раз виделся с ним и на его квартире в Москве, и на даче — сперва под Москвой, а потом на его родине, в Марьевке, встречался с ним и в домах творчества. Чаще всего в Гагре, Дубултах или Переделкине.

Во время этих встреч я понял, что большое

место в его творческом процессе занимала подготовительная часть работы, когда вынашивается замысел, когда в сознании поэта проходят — один за другим — ритмы, пока не придет тот единственно верный, который с наибольшей точностью мог бы ответить замыслу стиха или поэмы.

Бывало, приехав в Москву, я иногда останавливался на ночь у него на квартире или на подмосковной даче. По утрам наблюдал почти одну и ту же картину. Проснувшись, он садился на край кровати или дивана и не спеша закуривал, сосредоточенно хмыкая про себя и взглядывая время от времени на светлеющее окно. Потом, так же не спеша, подходил к столу и, не садясь, записывал на листе бумаги одно-два слова. Видимо, сбереженные с ночи. Потом снова садился на диван. На этой стадии работы он мог и выходить из дому, мог пойти на прогулку. Идет, идет и вдруг остановится, — запишет строку или слово на папиросной коробке и идет дальше.

Но когда он начинал работать за письменным столом, он старался не появляться на людях, будь это в Москве или вне ее. А если и появлялся, скажем, в столовой Дома творчества во время завтрака или обеда, то, как правило, не вступал в разговоры даже с соседями по столу. Был молчалив и сосредоточен. Те, кто его знал, догадывались, что он — в разгаре работы, и сами старались не отвлекать его.

В то же время, если в комнату к нему кто-то наведывался, он не делал из этого трагедии, а спокойно откладывал в сторону ручку или на время отодвигался от машинки. На его письменном столе — в домах творчества всегда раздражающе-маленьких — вокруг исчерканных листов лежало еще несколько книг, как правило, с закладками.

Зато дома у поэта большой стол-бюро являлся, естественно, главным предметом и центром кабинета. Кроме этого стола, книжных полок и ди-

вана, ничего больше не было. Видно, что стол подбирался хозяином для работы усидчивой и серьезной.

И запомнился мне еще один его письменный стол, на его даче близ Внукова, на хуторе Гаврилов.

Я приехал туда по окончании III съезда Союза писателей РСФСР, который проходил, кажется, в 1970 году.

На этом съезде Василий Федоров выступал с докладом о состоянии российской поэзии, в котором, между прочим, одобрительно отозвался о работе ряда поэтов, живущих и работающих на периферии, в том числе и о моей.

Хутор Гаврилов мне понравился. Поэт купил на бывшей лесной поляне половину старого деревянного, пятистенного дома, принадлежащего прежде леснику. Купил и перестроил. Наверху дома, куда теперь вела деревянная лестница из прихожей, находилась мансарда, где обычно работала жена Федорова — Лариса Федоровна. Внизу были столовая и кабинет Василия Дмитриевича, с окном и дверью в сад, за которым сразу начинался лес.

Поужинав, мы разошлись: Лариса Федоровна поднялась к себе, в мансарду, чтобы продолжить какую-то срочную работу, а мы с Василием Дмитриевичем прошли в его кабинет. Осенний день подходил к концу. За лесом гасли последние отсветы недолгой и неяркой зари. Но мы не стали зажигать свет: в печке, стоявшей в углу кабинета, жарко горели сосновые поленья, и по полу весело бегали дрожащие блики огня. Как и в московской квартире, здесь большую половину комнаты занимал массивный письменный стол с тяжелыми точеными ножками в виде львиных лап и множеством выдвижных ящичков.

Перехватив мой любопытствующий взгляд, Федоров подошел к столу и, любовно погладив столешницу, торжественно изрек:

— Это, брат, не стол, а памятник!..

При этом в голосе хозяина явственно прозвучали нотки тщеславия, что было для меня в новинку: я знал почти равнодушное отношение Василия Дмитриевича к своему быту вообще, к предметам же домашнего обихода в особенности. Заинтересовав меня столь неожиданно проявившимися в нем переменами, он нашел необходимым уточнить:

— Это из старого арбатского особняка, который подлежал сносу. Стол и вот дверь... Шоферы на своих самосвалах вывозили их как возможные дрова...

Только тут я обратил внимание на дверь кабинета. Ее темное, массивное полотно из мореного дуба, изукрашенное резьбой, явно дисгармонировало со стандартной дверной коробкой. Да и с обстановкой комнаты — тоже.

— Произведения первой половины девятнадцатого века, — объяснил Василий. — Очевидно, старания крепостных умельцев.

И таинственно почти добавил:

— Есть предположение, что в этом особняке бывал Пушкин... Как знать, уж не входил ли он в эту дверь?.. Не присаживался ли к этому столу?..

И Василий снова любовно погладил край стола.

О Пушкине и Лермонтове, о Некрасове, Есенине и Твардовском и говорили мы в этот вечер, устроившись на табуретках перед топящейся печкой и время от времени поглядывая на ее огонь сквозь коричневого цвета жидкость в наших рюмках. О рюмках, впрочем, сказано здесь к слову — не так уж много было и поднято их. Тем более, что и без них нам было, видимо, не плохо. По крайней мере, когда поздней ночью сосуд оскудел, беседа от этого не стала менее интересной. При этом более всего было переговорено именно о Пушкине. Начавшийся с уточнения наших взглядов на некоторые особенно дорогие нам стороны поэзии великого предшественника, разговор перешел постепенно на его человеческие свойст-



ва: любовь к отечественной истории, любопытство, трудолюбие. Об этом последнем обстоятельстве Василий Дмитриевич говорил с особой заинтересованностью.

— Ты понимаешь, беда многих из нас в том, что мы не вырабатываемся за свой век сполна. Недостаточно тратим сил и времени на то, чтобы овладеть культурой. А после, даже и научившись чему-то, не умеем выплеснуть все то, что в нас было заложено, что накопилось за жизнь. Так и уходим в небытие, не сказав о себе всего, что могли и должны были сказать, и лишь как бы представившись публике...

Теперь, когда его не стало и у его друзей, оставшихся в этом мире, появилась настоятельная необходимость окинуть взором все, что им создано, можно с уверенностью сказать, что эти его горькие слова о неумении и нежелании работать менее всего можно отнести к нему самому.

В тот вечер у огня мы читали стихи. Читал больше он. И старые, и новые, еще не побывавшие на печатном станке.

Дочитав одно из таких новых, он уже в который раз подбросил в печурку очередное полено — не столько для тепла, которого и так уже было более чем достаточно, сколько для того, чтобы поддержать в комнате свет. Но в этом уже не было необходимости: оконное стекло, еще недавно черное от ночи, теперь явно наливалось синевой.

Мы вышли в сад. Он был небольшой и не очень ухоженный, но живой. В одном его углу, среди невысокой повядшей травки, стояло несколько старых яблонь и кустов смородины. Яблони уже облетели, и черные корявые сучья их четко прорисовывались на фоне розовеющего неба. Несколько одиноких некрупных яблок виднелось на верхушке. Между ними попискивали синицы.

Я думал, что Василий ведет меня к птицам, к яблокам. Но он, миновав их, прошел в дальний пустой угол сада, наклонился над каким-то ма-

леньким темно-зеленым деревцем. Это был кедр-подросток, едва достигавший колен поэта.

— Подарок новосибирских ботаников,— сказал Василий.— Пусть укрепляются сибирские корни на столичной земле...

И он бережно погладил длинные пушистые иглы дерева...

Провожая меня в город и уже остановив на шоссе попутную машину, Василий вдруг смущенно глянул на меня.

— Ты знаешь, а ведь я забыл показать тебе предисловие...

— Какое предисловие? — не понял я.

— Да понимаешь, я тут составил и предложил «Молодой гвардии» твою книжечку стихов для серии «Избранная лирика». Они согласились, но попросили написать небольшое предисловице. Вот я кое-что и набросал... Ну, ничего, прочитаешь потом в книжке...

И он захлопнул дверцу зилловской кабины, куда я, поторапливаемый водителем, уже взгромоздился.

В этом был весь Василий Федоров. Он никогда никому не говорил о том, что делает или тем более собирается сделать для другого.

Побывал я и на родине поэта, в Марьевке.

Поезд остановился на станции Яя рано утром. Как добираться до Марьевки, я не знал, вот почему сначала заглянул в райком. И не ошибся — меня, как говорится, «поняли» и тут же дали машину. Через двадцать минут «газик» подкатил к воротам Назаркиной горы. Василий Дмитриевич был уже на ногах — он копал ямы под стояки для изгороди.

Пока старшая сестра Василия, Татьяна Дмитриевна, приехавшая к брату погостить, а главное «поухаживать» за ним, готовила завтрак, мы поставили несколько столбиков. А затем я осмотрел



*Вислий Дмитриевич у выращенного им кедра. Хутор Гаврилов.*

участок и сам дом. Мне это было тем более интересно, что я и сам в это время начинал тоношиться с возведением жилья у себя на родине, в Уржуме, на реке одноименного названия.

Ну что же — дом порадовал меня своей основательностью. Сруб для него, привезенный откуда-то издалека, из лесных краев, пахнул смолою. Фундамент каменный, окна большие — я насчитал их шесть — значит солнце тут будет гостить

с утра до вечера. Шиферная крыша. Но вот терраска показалась маловатой, входная дверь хлипкой — фанерная... Это против той-то, виденной мною на хуторе Гаврилов! Там — царь-дверь! И резьба по ней дворянская, поскольку особняки на старом Арбате стояли господские, а тут особняков не бывало... Сказал об этом Василию: «Дверишка-то у тебя не солидная — ни к дому и ни к горе». Он, смеясь, согласился: «Потом переменим, я уж тут познакомился с яйским ЛПК — обещали. И даже стол «с размахом» предвидится.

Стол «с размахом» ему, действительно, года через три доставили, а дверь — по рассказам Ларисы Федоровны — так и осталась в том же виде.

Что касается Назаркиной горы, то лучшего места для выбора дома и не придумать. Такая дивная панорама открывалась с нее. Постоишь, посмотришь на притуманенные просторы, и дух у тебя захватит от величия Сибири. А под горою озеро Кайдор, от него луга до самой реки Яя. По другую ее сторону виднелся, как объяснял мне Василий Дмитриевич, колхоз-миллионер «Родина», при селе Яя-Борик.

— Наши марьевские девицы туда замуж ходят, но чаще парней сюда переманивают.

Прошлись мы с ним и по марьевским полям, увы, в этот год не радующим глаз... Не предвиделось ни трав большого укуса, ни обильного урожая. В тот памятный год, когда под Москвою горели торфяники, полыхал зной и над Сибирью.

С полей опять вернулись в Марьевку.

— Пойдем, с нашей Марией познакомлю, — предложил поэт. — Она мне двоюродной сестрой доводится. Бывшая трактористка. В пятнадцать лет по военным временам за руль села. Муж у нее тоже славный, бывший фронтовик-десантник...

Дом супругов Арышевых, Марии и Петра, как раз напротив Дома культуры. Посмотрел на него и вспомнил иронические строчки поэта: «Коровники кирпичные, а клубик деревянный»...

В нынешнем, восемьдесят пятом, году поэт увидел бы новый великолепный Дом культуры, поставленный \* вблизи березовой рощи в районе так называемых «марьевских черемушек»...

Всякий гость, входящий в дом Марии Васильевны Арышевой в сопровождении ее двоюродного брата, и даже без него, но со словами: «Я друг-приятель Василия Федорова», — для дома Арышевых гость священный. Так было и в этот раз. Высокая, смугловатая, с радушной улыбкой на добром крупном лице, Мария Васильевна тут же пригласила к столу на пироги с соленой колбасой. И медовушка нашлась, и яичница обо всю сковороду. Мелковатый рядом с Марией Петр Михайлович не отставал от жены в радушии. Удивительно славная пара. Трое племянников поэта дома уже не жили: Марьевка тоже приносила городу свою обильную дань молодыми кадрами...

— На машинный двор гостя своди, — посоветовал Петр, как все марьевцы, уважительный к обилию техники.

— Да, машин хватает... — как-то невесело подтвердил поэт. — Немало денег на машины уходит, а выйдет какая из строя, найти нужную запчасть — проблема. Вот и ставят ее на прикол, загромождают территорию. В первое время машина удивляла, о ней радели, а теперь ничего не стоит раскурочить новый трактор или комбайн на запасные части...

Побывали мы на этом машинном дворе. И в мастерских ремонтных тоже. Люди готовили технику к сенокосу. Василий Дмитриевич со многими слесарями и кузнецами был знаком. С ним здоровались за руку, отделяя его тем от начальства, поскольку был он тут человеком своим. А машин при дворе было действительно немало...

---

\* Увы, даже осенью 1987 года Василий Дмитриевич увидел бы этот Дом культуры недостроенным.

— В ту пору, когда я ходил в помощниках у бригадира Антона Максимовича — в тридцать третьем году, — у нас на все марьевские поля два трактора было. Остальное — лошадки. И ни разу хлеб под снег не уходил. Справлялись. И урожаи очень даже неплохие были. Чтобы не расстраивать тебя, цифры приводить не стану... Видимо, слишком «захимичили» землю, навоз вывозится на поля неравномерно, а химия без органики... — он не договорил, махнув рукой. — Послушай, а что это мы пропускаем золотое время рыбалки. Под вечерок самый клев. Сбегаем-ка на Яю!..

Мы вернулись на гору, чтобы вооружиться удочками и даже диковинным японским спиннингом, подаренным кем-то поэту...

О, марьевские луга! Как благодатно было идти босиком сначала по теплой истрескавшейся от зноя дороге, потом по траве, щекотавшей отвыкшие от таких ласк подошвы... Трава эта была, однако, и здесь низковата и мало радовала глаз. Река тоже сильно обмелела. Со стороны марьевских лугов берег ее был высоким, источенным гнездами стрижей, а берег яя-бориковских «миллионеров» — плоский, с завидными «евпаторийскими» песками...

Засучив брюки и выйдя по перекату на середину реки, мы взмахнули нашими удилищами. Вскоре я выбросил на берег окунька, а Василий — порядочного пескаря. Клевала рыба довольно бойко, но шла все мелочь. И мы скоро оставили это занятие.

На обратном пути решили нарвать черемши. Но нашли ее тоже не в лучшем виде: верхушки ее раньше времени обметало семенной кашкой, а стебли одеревенели. Зато в тени, между двумя кустами, напали на стайку молодых, только что вылезших из-под земли бело-розовых шампиньонов.

Бережно срезая их, Василий приговаривал: — Спасибо вам, гнедые... Вот спасибо...

Я не очень понял: при чем тут гнедые?

— А как же? — ответил Василий. — Конский навоз — лучшее удобрение для шампиньона... Но нынче сухо, вряд ли будут грибы...

Я вспомнил об этом случае позднее, когда прочитал в его книге «Как цветы на заре...» такие строки:

*Там, где трактор стоял,  
Ничего не растет,  
Там, где лошадь,—  
Растут шампиньоны...*

Вечером, после ужина, мы еще долго не могли уснуть, хотя в доме и было достаточно прохладно. Все возвращались в разговоре к его марьевским и моим уржумским полям, к засушливому лету, к вопросам мелиорации и обводнения, к НТР и механизации деревни. И снова — к проекту поворота сибирских рек в Среднюю Азию. И к космосу. Василий заканчивал тогда поэму «Седьмое небо» и, как я понял, мучился над проблемой соединения наших космических и земных задач.

— Вот шумим о подвигах нашей науки, — сказал он, — о победе человека над космосом. А между тем силы человека над природой пока весьма относительны. Ударила засуха, и человек, по существу, ничего не может. Да и только ли засуха. Сколько непорядков, устранение которых вполне в наших силах, а устраняются они пока медленно. Тут на днях один скотник запил. И бедные доярки вручную, на вилах, перетаскивали тонны силоса, чтобы накормить коров. А бывает, что и доярки «оступаются»: в иной праздник можно услышать и рев недоенных коров на ферме...

Разговор этот надолго остался у меня в памяти. Тем более, что еще утром Василий прочитал мне новую главу из «Седьмого неба», откуда запомнились слова:

- Летим!
- Куда летим?
- Летим к далекой Веге...

И вдруг — этот ночной разговор, казалось бы, в корне противоречащий только что прочитанному. Но и тогда я, впрочем, догадывался и сейчас тем более понимаю, что никакого противоречия во всем этом, конечно же, не было и нет. Просто Федорову, как всякому настоящему поэту, всегда была дорога мечта человечества заглянуть за горизонт возможного, но еще дороже были ему земные пути-дороги человека, его благополучие и небезразличное отношение к земле и труду на ней.

О Федорове как авторе поэмы «Седьмое небо» можно с полным правом сказать, что он мечтал о небесном, а болел о земном.

Как секретарь правления Союза писателей РСФСР и член правления Союза писателей СССР, а главное, как активно работающий поэт, Василий Федоров, хотел или не хотел этого, был в центре литературной жизни — творческой и общественной — принимал в ней активное участие. Он не был, что называется, штатным оратором. Однако во время писательских съездов или каких-то других важных литературных акций — иногда добровольно, иногда по обязанности — нередко оказывался на трибуне. Причем, как правило, покидая ее, мог не стыдиться за свое выступление. Такими были, в частности, его доклад о русской поэзии на III съезде писателей России, его слово о Пушкине на торжественном заседании, посвященном юбилею поэта, его выступление на блоковских юбилейных торжествах. Именно на этом вечере, посвященном юбилею А. Блока, Федоров сказал о нем слова, которые могли бы выразить личность любого истинного поэта.





*В Томске. 1971 г.*

— Истинный поэт, — сказал он тогда, — всегда революционер, а истинный революционер — всегда поэт. Ибо конечная цель и поэзии и революции одна — победа нового над старым, торжество света над мраком, добра — над злом!..

Слова эти запомнились многим, находившимся в зале.

К чему Федоров совершенно не рвался, так это к публичному чтению стихов. Его мало волновала та популярность, к которой стремятся иные поэты. Он не ездил со специальными выступлениями по стране по линии Бюро пропаганды литературы. Но когда проводились его юбилейные вечера в Москве или на его родине, или когда он оказывался в составе писательской делегации в той или иной республике, или участвовал в работе выездного секретариата Союза писателей РСФСР

в том или ином городе, он, естественно, от выступлений не убегал. И к выступлениям этим подходил с полной мерой ответственности. Это прежде всего выражалось в отборе стихов для чтения. Он никогда не подыгрывал публике. Наоборот, при общении с нею он выбирал стихи наиболее серьезные, нагруженные непростой, но очень важной для него мыслью. Он хотел сообщить слушателю то, что более всего волновало, заботило и тревожило его, поэта и гражданина. Взывая к уму и совести слушателя, заставляя задуматься над жизнью и своим местом в ней. Обычно он читал «Хозяйку», «Ровесницу», стихи об отце. Иногда — «Сердца», «Наше время такое», «Рабскую кровь». Но чаще всего — «Совесь» — исповедь поэта перед памятью матери, о долге его перед нею и перед людьми труда.

Сама манера чтения его была под стать содержанию его стихов. Он читал серьезно, без эстрадной аффектации.

Человек несуетливый и совершенно лишенный верхоглядства и стремления «поглазеть» на что бы то ни было и во что бы то ни стало, он однако отнюдь не был домоседом. Каждый год он не по разу выезжал из столицы и отправлялся не только на юг, где в последние годы по необходимости — из-за состояния здоровья — должен был обязательно проводить какое-то время, но и в другие наши края. Но ездил с разбором. Адреса его поездок диктовались либо конкретными творческими задачами, либо стремлением увидеться с людьми, без общения с которыми он не мог жить и работать. Чаще всего это, конечно, была Сибирь.

Зато он весьма неохотно и редко выезжал за границу, хотя и бывал там несколько раз.

— Меня не интересует витрина, предлагаемая мне вместо сути жизни. Как не интересует облатка — вместо конфетки, даже если она позолочена, — говорил он обычно.



*Василий Федоров и Егор Исаев. 1978 г.*

Поэтому преувеличенные хлопоты и заботы некоторых его коллег по поводу возможных заграничных поездок, а тем более по поводу известности за рубежом, вызывали у него, как правило, снисходительную улыбку.

Припоминается такой случай. Поэт, ровесник Федорова, считавший себя за одного из наиболее последовательных и ярых поборников всего русского, от глубокой старины до наших дней, как-то в разговоре с Василием Дмитриевичем не без гордости заявил, что отныне он такой же знаме-

нитый, как один, довольно популярный в те годы, не без помощи эстрады снискавший довольно широкую известность молодой поэт, о котором он, наш собеседник, всего несколько минут назад довольно неодобрительно говорил. Выходило, что он и недолго любил своего молодого собрата и одновременно как бы завидовал ему и даже соревновался с ним.

— Что же такое случилось нынче, что ты вдруг догнал своего соревнователя? — спросил Федоров.

— Видишь ли, того на Западе хвалят. А меня по лондонскому радио (он упомянул название радиостанции, которое я, признаться, тут же забыл) обругали за то, что я — среди московских поэтов — один из главных русофилов...

И он торжествующе глянул на Федорова.

Тот молчал.

— Ну, как? — поглядывая на Василия Дмитриевича, забеспокоился наш собеседник.

— А никак, — ответил Федоров. — Меня лично ни похвалы из-за забора, ни брань из подворотни не беспокоят. Беспокоит меня больше другое — что о моей работе думают марьевцы. Я, видишь ли, имею обыкновение ежедневно есть хлеб, который они выращивают...

В определенной части литературной среды бытует мнение, что Василий Федоров был малообщителен и даже угрюм. Более ошибочного мнения, чем это, трудно себе представить. Оно сложилось, видимо, из того факта, что он, как я уже говорил, не любил мелькать перед глазами, особенно в качестве чтеца на эстраде. Было и другое, — защищая жизненные принципы поэзии в дискуссиях или на пленумах, он часто бывал непримирим и резок. Это — верно. Но верно также и то, что он обладал широким и живым интересом к литературному процессу, сам принимал в нем

живейшее участие, с большим кругом поэтов — самых разных поколений — был знаком, а со многими из них — дружил. Среди последних я мог бы назвать поэта-магнитогорца Бориса Ручьева, москвичей Бориса Соловьева, Дмитрия Ковалева, Владимира Солоухина, Владимира Фирсова, Валентина Сорокина, ленинградцев Александра Прокофьева, Сергея Воронина, Александра Решетова. В последние годы он близко сошелся с Михаилом Лукониным, хотя сделать это ему было не просто. Дело в том, что хотя они и были одногодками, но в литературу пришли не в одно время. И случилось так, что первая их встреча не была встречей равных: марьевский хлебороб и строитель самолетов Василий Федоров защищал после окончания Литинститута свою дипломную работу, а фронтовик Михаил Луконин принимал ее как один из членов экзаменационной комиссии. Защита прошла не очень удачно, в чем не последнюю роль сыграло слово Луконина. Он почему-то посчитал, что поэт не знает жизни... Обида довольно долго терзала Федорова...

Позднее оба поэта разглядели и оценили друг друга. Кончилось тем, что они не однажды, плечо к плечу, принимали участие в различных литературных и общественных акциях, вплоть до совместной поездки за рубеж.

Конечно, отношение Федорова к своим товарищам разных поколений — старшего и младшего — не было одинаковым. Младшим он покровительствовал, никак, впрочем, не подчеркивая этого покровительства, к старшим относился с понятным чувством уважения, тоже не допускающего и мысли о каком бы то ни было заискивании. Отношения были именно уважительными, без унижения достоинства, которое Федоров всегда ценил в других и потому не мог поступиться и своим.

Помню, как после очередного семинарского занятия на совещании молодых в Кемерове, о котором я уже упоминал выше, мы втроем — Ва-

сильий Федоров, Ярослав Смеляков и я — летним погожим вечером прогуливались по великолепной набережной Томи, рассекающей город. Только что закончился жаркий летний день, и со стороны далеких гор доходили потоки освежающего воздуха. Вдоль набережной горели матовые шары фонарей, а на безоблачном небе беззаботно паслась до блеска начищенная луна, что не могло не настроить нас на размышления и рассуждения, носящие несколько возвышенный, хотя и не совсем отвлеченный характер. Разговаривали, собственно, Ярослав Васильевич и Василий Дмитриевич. Я же, как их собрат помоложе, больше прислушивался к тому, что говорили они. А говорили они о том, кому из них предназначено на олимпе русской советской поэзии первое, а кому — второе место. Конечно, разговор был шуточный.

Но тут вмешался я.

— Товарищи поэты, вы не забыли о Твардовском?..

Смеляков сразу помрачнел, как будто его и в самом деле спустили с высот олимпа на грешную землю, и холодно посмотрел на меня, а затем на Федорова. Зато Василий, что называется, и глазом не моргнул.

— Ну, Леонид, ты хватил, — ответил он. — Твардовский — вне конкурса...

Предметом пристального внимания Василия Дмитриевича Федорова была работа поэтов на периферии. Он придерживался того взгляда — и не раз выражал его устно и письменно, — что культурный слой нужно распространять не только вглубь, но и вширь, растить очаги культуры не только в столице, но и в центрах краев и областей. Его поддержку ощутили многие молодые и немолодые поэты, живущие на Урале и в Сибири, на севере и юге России. По понятным причинам особенно интересовала его литературная жизнь

Сибири и, в частности, родного ему Кемерова и города его юности Новосибирска. Сколько раз он спрашивал, бывало, меня, приезжавшего в Москву: «Ну, как там Смердов? Пишет ли? И что пишет: стихи или прозу?» Или «Как там почтенная Стюарт? Здорова ли?» Он особенно высоко отзывался о поэзии Ильи Мухачева, о прозе Кондратия Урманова и Афанасия Коптелова, об организаторском таланте Саввы Кожевникова.

Помнил он и своих ровесников, поэтов военного поколения. Когда я как составитель посмертного сборника стихов Бориса Богаткова обратился к ряду литераторов с просьбой написать о поэте воспоминания, он откликнулся на мою просьбу первым. И, больше того, посоветовал заинтересоваться судьбой литературного наследства другого погибшего на войне поэта, иркутянина Ивана Черепанова, с которым он встречался в юности и чьи стихи держал в своей памяти с тех давних пор.

Тепло и силу его надежного плеча не раз ощутил и я, хотя не только ни разу ни о чем не просил его, но даже и не намекал. Мою книжечку «Избранная лирика» в «Молодой гвардии» Федоров по своей инициативе составил и сопроводил своим предисловием. Почти то же произошло с книгой «Осенний звездопад», вышедшей позднее в «Художественной литературе».

Книга стихов «Благодарение» на протяжении трех лет дважды выдвигалась на соискание Горьковской премии. Я за это время так привык выдвигаться, что и тогда, когда был выдвинут в третий раз, ничего в этом смысле для себя не ждал и спокойно работал, сначала заканчивая книгу стихов «Поверка», а затем — «Возраст».

И вдруг где-то в конце декабря 1979 года в моей квартире раздался звонок из Москвы. Звонил Федоров.

— Читай «Советскую Россию»...

Я понял, что состоялось решение о присужде-

нии премий. Но в данном случае для меня был важен не только факт сам по себе, важно было то, как близко к сердцу принимал его Василий Федоров, которого я, как видно, не без оснований считал своим другом.

Сейчас, когда я заканчиваю эти заметки, литературные газеты сообщают о книжных и журнальных новинках месяца. В «Литературной России», под рубрикой «Журналы в мае печатают», читаю: «...в «Молодой гвардии» публикуются стихи А. Рахвалова с предисловием Василия Федорова».

Кто такой Рахвалов? Не знаю. А он, Василий Федоров, успел узнать и успел поддержать еще одного собрата по перу. Поиск и поддержка новых молодых поэтических сил продолжались им до последнего дня его жизни. И думаю, что и в этот раз едва ли просил его об этом молодой автор. К просьбам такого рода Федоров как раз относился весьма настороженно. Нет, эту работу он делал по собственной инициативе. Людей, которые ему казались нужными поэзии, он отыскивал сам.

В заключение — несколько слов общего порядка. Федоров был человеком долга. Долга перед Россией и родной Сибирью, перед народом и марьевскими односельчанами, перед русской советской поэзией и перед собственным поэтическим талантом. И поэтому к поэзии вообще и своему личному участию в ней относился серьезно. И ответственно.

Он не унижал поэзию до служения побрякушкам. Он говорил, что игра должна стоять свеч, то есть цель должна быть достойна Поэзии, а стихи — достойны этой цели. Мысль — вот что лежало в основе всех его стихов, не говоря уже о поэмах. Поэмы его потому и не были описательными. Сюжет в них двигался, коллизии сталкивались, с единственной целью — высечь искру мыс-



ли, высвободить энергию мысли, таившуюся до времени в нераскрытом еще сюжете. Он был масштабным поэтом, что особенно видно в его поэмах, где он всегда чувствовал себя свободно, как хороший пловец в море.

Он ценил время и берег его для работы в поэзии. Некоторые литераторы его же окружения, с удовольствием делившие с ним в свое время его нечастые застолья, имели привычку и тогда, при жизни, и сейчас, после его ухода, подчеркнуть это его расположение к застольной беседе. При этом подчеркивалась не столько сама беседа, ради которой, собственно, и шел он к столу, сколько то, что сопровождало ей. Но говорили и говорят это люди, видевшие его только в бильярдной ЦДЛ, в минуты отдыха после большой работы.

А о работе поэта можно судить по ее результатам: около тысячи стихотворений, около двадцати поэм, из них две — «Седьмое небо» и «Женитьба Дон-Жуана» — крупномасштабные. Да еще объемная книга прозы о поэзии. Да еще лирические новеллы — «Сны поэта», написанные в самые последние дни. Да еще несколько повестей, изданных в начале творческого пути и затем не включавшихся поэтом в его собрание сочинений!

Василий Федоров умел и любил работать. Он умел глядеть в глаза жизни и глядеться в зеркало Поэзии!

Из всех понятий долга высшим для Василия Дмитриевича Федорова, как мы уже говорили, был долг перед Родиной. Об этом свидетельствует вся его трудная и прекрасная жизнь, весь его творческий путь. Об этом он очень хорошо сказал в стихотворении, появившемся впервые в его книге «Как цветы на заре...»:

*С тех пор,  
Как тобою поклялся,  
С тех дней,*



*В Подмоскowie. 1965 г.*

Как я принял твой путь,  
Всю жизнь я,  
Отчизна, боялся  
В надеждах  
Тебя обмануть...

А заканчивается это стихотворение так:

Когда ж,  
На себя негодуя  
За то,  
Что погиб не в бою,  
С последнею песней  
Приду я,  
Ты примешь ли  
Песню мою?

Сколько тут глубоко человеческого чувства безвинной вины за вечно неоплатные долги и тревожно-вопрошающего ожидания и надежды на признание своего пути со стороны той, чье признание только и важно было ему,— со стороны родной земли, родины, России.

Мы знаем, что этой его сыновней любви отчизна отвечала своим материнским признанием.

И поэт, к счастью, особенно в конце пути, имел основания догадываться об этом.

1985 г.



Василий Федоров в 1939 году

ИЗ СНОВ-ВОСПОМИНАНИЙ  
В. Д. ФЕДОРОВА («СНЫ ПОЭТА»)  
НОВЕЛЛА  
«БЕРЕЗОВЫЙ РАЙ»

Вероятно, как многим поэтам, мне случается сочинять стихи во сне. К утру или заспишь их, или, поднявшись, сразу же забудешь. А те, которые запомнишь, наяву тут же поблекнут, обезформятся, как медузы на солнце. Между тем во сне они волновали, казались настоящими. Только однажды я проснулся с четко звучащей строфой довольно туманного смысла:

*Только солнце,  
Только свет,  
Только свет и слово!..  
Я — божественный скелет  
Голоса земного.*

Другие строчки не запомнились, даже начало той строфы вернулось на место усилиями памяти, а вот «скелет голоса» оказался устойчивым. Все-таки в нем есть какой-то намек. Это лишь доказывает, что для закрепления эмоции недостаточно работы одного подсознания, нужно активное участие разума. Впрочем, до сих пор мною владеет чувство омерзения от песни, которую я когда-то услышал во сне. Ее пел какой-то трухлявый старик пропитым голосом. Но последнее сказано к слову.

Лично мне сны помогают в работе. Бывает, пишешь — и вдруг наталкиваешься на мертвое пространство. За ним уже что-то брезжит, но перескочить через пустоту нельзя, нужно построить нечто вроде моста, а материала для него нет, то есть об этом я раньше не думал. Мертвое пространство в стихотворении — белое пятно в душе

поэта, построить через него мост — значит осветить в себе какой-то темный уголок. Мне нравятся такие моменты, воистину творческие, всегда что-то прибавляющие.

В таких случаях, если это ночью, я ложусь спать и заказываю своему сознанию или подсознанию — сами разберутся, кому, — чтобы они поработали над трудным местом.

Я себе спокойно сплю, а в клеточках мозга идет активнейший, как теперь говорят, сбор информации по вопросу преодоления тупика. Что-то прочитанное, что-то услышанное, что-то увиденное, — все собирается в одно рабочее место. Моему сну это нисколько не мешает. Работают как раз те клетки, которые все время спали, работают старательно, как люди, долго бывшие в тени, а потом выдвинутые на общественную работу. После этого трудное место, как правило, дается уже не труднее, чем все предыдущие. Так мне далась поэтическая формула в поэме «Проданная Венера»:

*За красоту времен грядущих  
Мы заплатили красотой.*

Кроме того, многие сны послужили мне материалом для стихов. В отличие от строчек, которые утром забываются, картины снов долго сохраняют эмоциональную свежесть, почти телесное их ощущение. Однажды по свежим следам я написал стихотворение о небывалом саде:

*В том,  
Моем саду,  
Как ты хотела,  
Как хотел и я,  
Берясь за труд,  
Понимаешь,  
На березах белых  
Золотые яблоки растут.*

Березы, белые-белые, притихшие, стояли рядами, как стоят яблони в садах. Только приствольных кругов не было. Вся земля изумрудилась плотной муравкой, в которой не виделось ни одного отвлекающего цветка, отчего белые стволы берез и белые ветви светились по-вечернему мягко, и на тех белых ветвях небесно висели золотые яблоки в крапинках невесть когда прошедшего дождя.

*Сколько чистоты  
И сколько света  
Пролилось на голову мою!  
Ничего не знал,  
Но знал, что это  
Был мой рай  
И ты — в моем раю.*

Любимая женщина, войдя в мой сад, вела себя робко. С немим восхищением она смотрела на белые-белые стволы, на золотые яблоки, но прикоснуться к ним боялась. Для смелости Евы ей не доставало невинности. Она боялась даже спросить меня: «Ты сотворил это чудо?» Глядела тихо и вопросительно. Я лишь кивнул, и тогда она робко улыбнулась...

Мне хотелось рассказать ей, как много-много лет я бился над тайной рождения такого сада. И вот тайна мне далась. Но рассказать об этом я почему-то не мог. Должно быть, тоже смущала тишина. Не дрожали и не шелестели мелкие листья — мельче, чем у обыкновенных берез, — с ветки на ветку порхали какие-то странные тихие птицы, избегавшие близости золотых плодов. Мне хотелось сорвать хоть один, но я, как и птицы, боялся их тронуть. А женщине хотелось, чтобы я их тронул...

И я сорвал. Сорвал плод и почувствовал в руке его невероятную тяжесть, хотя я знал, что он не был золотым в буквальном смысле. У него была





## СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Прокушев. Поэт России и мира . . .	5
Василий Стародумов. «Красивыми не были, а молодыми были...» . . . . .	17
Денис Цветков. В начале пути. Василий Федоров в Иркутске . . . . .	42
Лариса Федорова. Назаркина гора . . . . .	60
В. Д. Коркин. Мой дорогой тезка . . . . .	95
<b>Расина Глазкова.</b> По соседству . . . . .	99
Александр Быков. Память прошлое хранит . . .	107
Сергей Воронин. Невозвратное . . . . .	123
Александр Ливанов. Притча о встречном . . .	137
Михаил Шевченко. Боль человека была его болью . . . . .	142
Виктор Баянов. А сердце веселое миру он нес... .	156
П. М. Дорофеев. Мы говорили обо всем... . .	174
Николай Поддубный. С Россией рифмуется имя его . . . . .	187
Герман Захаров. Судьбой дарованные встречи . .	194
Валентин Махалов. Наедине с памятью . . . .	204
Леонид Решетников. Сын сибирской стороны .	239
Из снов-воспоминаний В. Д. Федорова («Сны поэта») — новелла «Березовый рай» . . . . .	283

**Воспоминания** о поэте Василии Федорове: сборник/ Составление Т. И. Махаловой.— Кемеровское кн. изд-во, 1987. 288 с., илл.

В пер.: 95 к. 15 000 экз.

Сборник воспоминаний о лауреате Государственных премий СССР и РСФСР поэте Василии Федорове, который родился и вырос в Кузбассе, каждое лето жил и работал на родине.

4702010200—26  
В \_\_\_\_\_ 87  
М 145(03) —87

ББК 84.3Р7

**Воспоминания  
о поэте Василии Федорове**

**Сборник**

**Составитель**

*Тамара Ивановна Махалова*

Редактор *А. М. Титова*  
Художник *В. П. Кравчук*  
Художественный редактор  
*А. С. Ротовский*  
Технический редактор  
*Г. Н. Манохина*  
Корректор *Е. Ю. Зубарева*

ИБ № 1161

Сдано в набор 25.05.87. Подписано к печати 15.10.87. ОП 05521. Формат 70×90 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отг. 10,53. Уч.-изд. л. 13,14. Тираж 15 000 экз. Заказ № 7384. Цена 95 к.

Кемеровское книжное издательство.  
Кемеровский полиграфкомбинат.  
Адрес издательства и типографии:  
650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

